

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

ИЗБРАННОЕ



Библиотека новой русской поэзии

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

ИЗБРАННОЕ

Издательство "Третья волна"
Москва – Париж – Нью-Йорк

БИБЛИОТЕКА НОВОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Проект Александра Глезера)

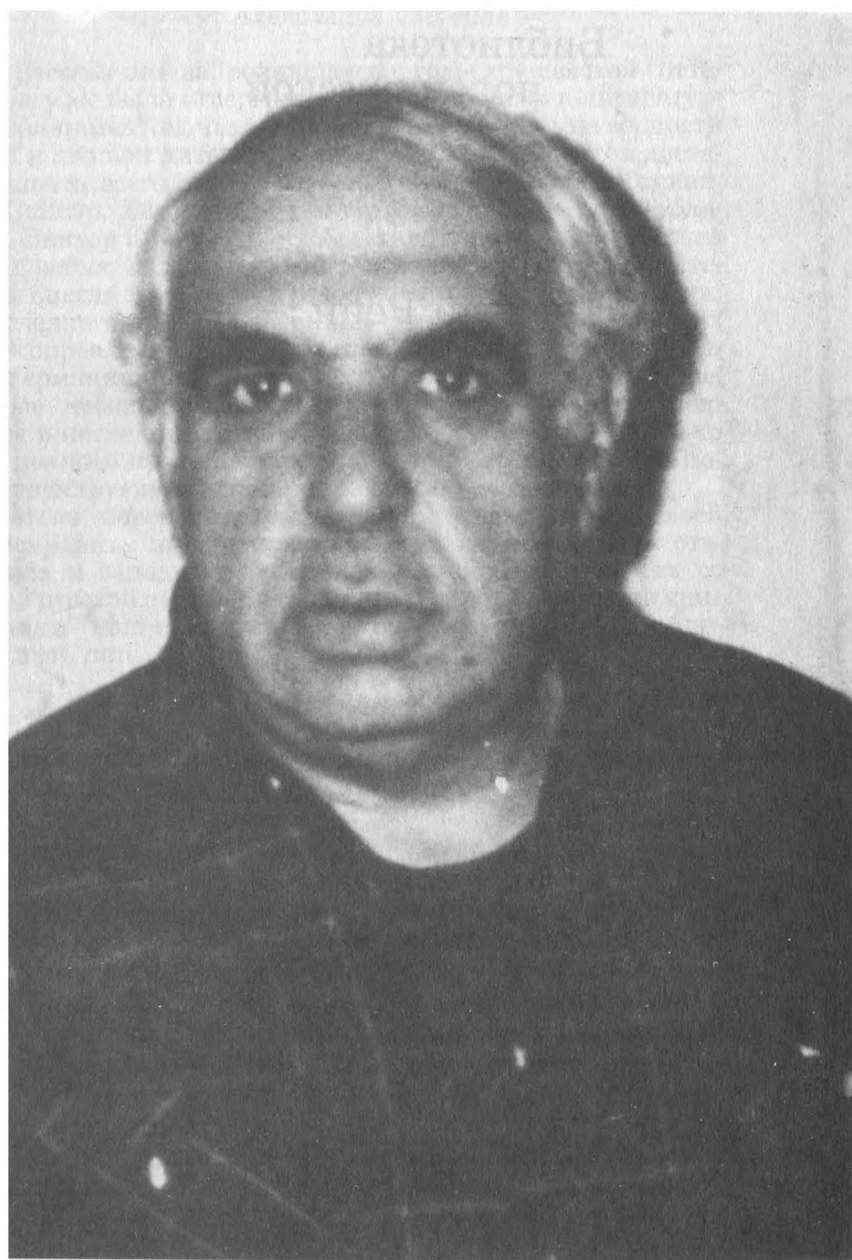
Новая русская поэзия, родившаяся в годы хрущевской "оттепели", сразу же была отвергнута властью имущими и литературным истеблишментом, чье благополучие зиждилось на верности казенной и лживой литературе соцреализма. Между тем достаточно назвать всего лишь несколько имен (Иосиф Бродский, Генрих Сапгир, Евгений Рейн, Геннадий Айги, Юрий Кублановский, Виктор Кривулин), чтобы стало ясно — новая русская поэзия является частью великой русской, а не советской литературы, и внесла свою лепту в славную историю русской поэзии.

До последнего времени сборники стихов поэтов, отвергших догматы соцреализма, выходили где угодно — во Франции, Западной Германии, США, Польше, — но только не на родине. Отдельные небольшие книжки и редкие публикации, появившиеся в последние годы в России, не дают хоть в какой-то степени полного представления о богатстве новой русской поэзии, о существующих в ней направлениях и тенденциях.

Библиотека новой русской поэзии, которая ставит своей целью исправить эту несправедливость и познакомить отечественных и западных любителей изящной словесности со свободной русской поэзией, включает в себя более двадцати книг "Избранного" наших ведущих поэтов и выйдет в свет в ближайшие пять лет.

Библиотека
новой русской
поэзии

3
Евгений Рейн



ПРЕДИСЛОВИЕ

Четверть века тому назад, в случайной застольной беседе кто-то — возможно то был я сам — окрестил Евгения Рейна "элегическим урбанистом". В те годы мы все были сильно снедаемы тоской по точным формулировкам, и определение это пришлось присутствующим — как впоследствии и самому Рейну — по вкусу. Теперь кажущееся невнятным и расплывчатым, тогда оно производило впечатление апофеоза критической мысли и пленяло своим наукообразием. Это объяснялось как положением в отечественной литературной критике — плачевным всегда, а в те годы в особенности — так и общим состоянием умов, т.е. полной атрофией способности называть вещи своим именами. Слово-сочетание "элегический урбанист" было продуктом этого климата и очерчивало некую мысленную территорию, дотоле неисследованную, но, в принципе, умопостигаемую: знакомый эпитет как бы одомашнивал менее известное, пахнущее — тогда — "современностью" существительное.

Всякая комбинация подобного рода (например, "метафорический кубизм" применительно к живописи Шагала или "социалистический реализм" применительно к макулатуре) как правило свидетельствует об определенной недостаточности употребляемого существительного. В данном случае, однако, присутствие прилагательного было продиктовано скорее явной избыточностью определяемого объекта. Главным — и возможно единственным — достоинством определения "элегический урбанист" был ощущение контраста между составлявшими его элементами, расширявшего вышеупомянутую неисследованную территорию. Тем не менее, словосочетание это было скорее наброском личности поэта нежели определением, действительно соотносимым с метафорическим радиусом или с метафизическим вектором его творчества.

Определение, по определению, ограничительно; метафора, по определению, расширительна. Мысль о мире, опять-таки по определению, центробежна. То же самое относится к языку вообще, к любому слову, употребленному минимум дважды: значение его расширяется. Но именно потому что поэзия не поддается категоризации, определения и имеют право на существование; будь это иначе, поэзия бы не существовала. В этом смысле, "элегический урбанист" не хуже любого иного. Воспользуемся же им хотя бы временно не потому, что оно адекватно личности и масштабу творчества Рейна, но потому что в нем звучит некое эхо ноты, взятой этим поэтом четверть века назад, и различается его внешний — тех лет — физический облик: воспользуемся меньшим для описания большего. Другого выбора у нас нет.

Как по жанровой принадлежности, так и по преобладающей тональности большинства его стихотворений, Евгений Рейн безусловно элегик. Элегия — жанр ретроспективный и в поэзии пожалуй наиболее распространенный. Причиной тому отчасти свойственное любому человеческому существу ощущение, что бытие обретает статус реальности главным образом постфактум, отчасти — тот факт, что самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологически, процесс ретроспективный. В этом смысле все сущее на бумаге, включая утопию, есть элегия. На бессознательном уровне это ощущение и этот факт оборачиваются у поэта повышенным аппетитом к глагольным формам прошедшего времени, любовью к букве "л" (с которой самый глагол "любить" начинается, не говоря — кончается). Потому нет более естественного начала для стихотворения, чем пушкинское "Я вас любил...", как и нет более естественного окончания, чем рейновское "Было, были, был, был, был", в котором смешиваются предсмертное бульканье стариковского горла с монголо-футуристическим "дыр-бул-щер". Последнее обстоятельство указывает на то, что мы имеем дело с элегиком современным — тем самым урбанистом! — с поэтом весьма обширной генеалогии, пропорциональной судьбе русского стихотворного языка за три столетия существования в этом языке авторской (в отличии от фольклорной) литературы.

При всей своей увлекательности, рассуждения о влияниях и истоках в творчестве того или иного поэта — особенно на нынешнем уровне развития стихотворной речи — оборачиваются по существу подменной осознания того, что этим поэтом сказано. На подмену эту критик идет тем охотнее, чем некомфортабельней (говоря мягко) и трагичней (говоря жестко) оказывается содержание сказанного. Рейн не избег уже и не избегнет этой участи впоследствии. Поэтому мы позволим себе здесь не предаваться подобным экскурсам, обесмысливаемым обшир-

ностью вышеупомянутой генеалогии, огромностью вобранного. Ко времени появления на литературной сцене того поколения, к которому принадлежит Рейн, русской поэзии было, если считать начиная с "Поездки на остров Любви", уже без малого триста лет. Оправданный еще столетие назад поиск фигур, имеющих ключевое значение для развития и становления поэта, теряет в XX веке прикладной смысл не столько даже из-за перенаселенности отечественной словесности, сколько из-за сильно возросшего количества факторов, традиционно полагавшихся побочными, но на деле оказывающихся решающими. Сюда можно отнести переводную литературу (поэзию в частности), кинематограф, радио, прессу, граммофон: иной мотивчик привязывается сильнее, чем самая настойчивая октава или терца-рима, и гипнотизирует крепче зауми. Для творчества Рейна — на мой взгляд, метрически самого одаренного русского поэта второй половины XX века — каденции советской легкой музыки 30-х и 40-х годов имели ничуть не меньшее — если не большее — значение, чем технические достижения Хлебникова, Крученых, Заболоцкого, Сельвинского, Вас. Каменского или — чем консерватизм Сологуба. Во всяком случае, если возводить пантеон рейновского метрического подсознания, более заполненного хорями, чем ямбом, то, наряду с вышеперечисленными, голосу Вадима Козина — вернее, заевшей пластинке с его голосом — будет в нем принадлежать почетное место.

Стихи растут из сора, и Ахматовская формула могла бы стать эпиграфом к этому сборнику Евгения Рейна с неменьшим успехом, чем ко всем прочим. Сор этот включает в себя решительно все, с чем человек сталкивается, от чего отталкивается, на что обращает внимание. Сор это — не только его физический — зрительный, осязательный, обоняемый и акустический опыт; это также опыт пережитого, избыточного, недополученного, принятого на веру, забытого, преданного, знакомого только понаслышке; это также опыт прочитанного. Стихосложение на сегодняшний день по-русски, само по себе, есть "одна великолепная" (часто неуместная и неуклюжая) цитата. В определенном смысле, поэзия на сегодняшний день и сама есть элегия; каждая почти строка, хочет того тот или иной автор или не хочет (хуже, если не хочет) аллюзивна, ретроспективна. В отличие от большинства своих современников, Рейн к сору своих стихотворений, к сору своей жизни относится с той замечательной смесью отвращения и благоговения, которая выдает в нем не столько даже реалиста или натуралиста, сколько именно метафизика, или, во всяком случае, индивидуума, инстинктивно ощущающего, что отношения между вещами этого мира суть эхо или подстрочный — подножный — перевод зависимостей, существующих в мире бесконечности. И внимание, и сентимент Рейна к "сору"

тем уже оправданы, что сор конечен. Не так уж важно, узнает ли себя читатель в том, что этот поэт говорит о жизни. Важно, что поэт узнает себя в соре, из которого растут его стихи; не менее важно и то, что и сама бесконечность, реши она облечься в плоть и в кровь, в стихах этих и в поэте этом себя несомненно узнаёт. (В конечном счете, поэт и есть бесконечность, облекшаяся в плоть и кровь.)

Рейн — элегик, но элегик трагический. Главная его тема — конец вещей, конец, говоря шире, дорогого для него — или, по крайней мере, приемлемого — миропорядка. Воплощением последнего в стихах Рейна служит город, в котором он вырос, героиня его любовной лирики 60-70-х годов, пережившая, говоря языком каторжан прошлого века, участь, дружеский круг той же датировки, образывавший тогда, по слову Ахматовой, "волшебный хор" и потерявший с ее смертью свой купол. В отличие от обычного у элегиков драматического эффекта, сопутствующего крушению мира или мифа, в отличие от элиотовского "Так кончается мир (Так кончается мир / Так кончается мир, / Не с грохотом, но со всхлипом", гибель миропорядка у Рейна сопровождается пошленьким мотивчиком, шлагером тех самых тридцатых или сороковых годов, чью тональность и эстетику стихотворение Рейна, как правило, воспроизводит то метрическим эквивалентом синкопы, то выбором детали. Более того, гибель миропорядка у этого поэта не одновременна, но постепенна. Рейн — поэт эрозии, распада — человеческих отношений, нравственных категорий, исторических связей и зависимостей, любого двучлена, включая ядерный, — и стихотворение его, подобное крутящейся черной пластике, — единственная доступная жэтому автору форма мутации, о чем прежде всего свидетельствуют его ассонансные рифмы. В довершение всего, поэт этот чрезвычайно вещественен. Стандартное стихотворение Рейна на 80% состоит из существительных и имен собственных, равноценных в его сознании, как, впрочем, и в национальном опыте, существительным. Оставшиеся 20% — глаголы, наречия; менее всего — прилагательные. В результате у читателя зачастую складывается ощущение, что предметом элегии оказывается сам язык, самые части речи, как бы освещенные садящимся солнцем прошедшего времени и отбрасывающие поэтому в настоящее длинную тень, задевающую будущее.

Но то, что может показаться читателю сознательным приемом элегика, или, по крайней мере, естественным продуктом ретроспекции, таковым не является. Ибо избыточная вещность, перенасыщенность существительными были присущи поэтике Рейна с самого начала, с порога. Уже в самых ранних стихотворениях Рейна конца 50-х годов — в частности, в его первой поэме "Артюр Рембо" — бросается в глаза своего рода "адамизм", тенденция к именованию, к перечислению

вещей этого мира, младенческая почти жадность к словам. В каждом следующем стихотворении они были другими, "кварталы уходили в анилин", "рычали тигры в цирке на гастролях, / гудел орган в проветренных костелах", "ушанка терлась в пробор", "мотоцикл" знаменитого циркового каскадера Маевского рифмовался с "черепашьим магазином", "новые линкоры" на черноморском рейде в строю передавали фокстрот, и на берегу Финского залива "В кровосмесительском огне / полусферических закатов / вторая жизнь являлась мне, / ладони в красный жир закапав". Открытие мира у этого поэта сопровождалось развитием дикции. Впереди лежала если не жизнь, то во всяком случае огромный словарь. В одном из первых услышанных мною стихотворений Евгения Рейна, "Японское море", начинавшемся строчкой "Пиво, которое пили в Японском море...", были такие строфы:

...Лезет Японское море, шипя побеленною пеной.
 Вольтовым светом побелит и пену, и локти.
 Тычется в море один островочек военный,
 где опускают под воду подводные лодки.

Радиомузыка ходит по палубам, палубам.
 Музыку эту танцуют и плачут и любят.
 Водку сличают с другими напитками слабыми,
 после мешают и пьют. Надо пить за разлуку...

И кончалось оно так:

...Люди плывут, как и жили. Гляди: все понятно.
 Век разбегается, радио шепчет утрумо
 эти некрологи, песенки и оппоненты.
 О, иностранное слово среди пароходного шума!

Это запомнилось сразу же и навсегда своим словарным составом, диковатым паузником, почти алогичным — на грани проговора — синтаксисом, помесью бормотания и высокой риторики, пристальностью взгляда и сознания, зажеванностью откровения в "Век разбегается...", где виден океан и слышно сообщение о смерти автора "Середины века". Стихи Рейна замечательны именно этим поразительным для всех органов восприятия моментальным соединением — реакцией, если угодно (и если иметь в виду его диплом инженера-химика), зрения, слуха и сознания и способностью взглянуть на полученное извне, забормотать результат реакции — результат опыта, поставленного над собой или над миром.

Рейн не только радикально раздвинул поэтический словарь и звуковую палитру русской поэзии — причем (поскольку у нас любят приоритеты) сделал это гораздо раньше тех, кому расширение это официально приписывается; он расширил — раскачал — также и психологическую амплитуду русской лирики. Здесь с приоритетом, надо полагать, все в порядке, ибо оспаривать глубину отчаяния, чернеющую в этих стихах, и степень усталости от него мало кому из соотечественников — падких до любых лавров — придет в голову. За четверть века лирический герой Рейна, этот "Двух столиц неприкаянный житель" и "сам себе командир", проделал довольно чудовищную эволюцию до обращенного к Творцу: "Или верни мне душу, / Или назначь никем" и — если уж мы заговорили об эволюции — до: "Я — бульварная серая птица..." Пение этой бульварной птицы поистине душераздирающе, не столько даже своим тембром, сколько тем, что в нем слышна не жалоба, но полное безразличие к своему щебету. При этом, зрению данной птицы присуща его неизменная ястребиная острота, придающая обычно стихотворениям Рейна сходство с живописью, — с тем, впрочем, отличием, что задник в них всегда прописан гораздо отчетливее, чем передний план. В этой размытости переднего плана и, прежде всего, авторской в нем фигуры, сказывается то же самое равнодушие автора к своему лирическому герою, в конечном счете — к самому себе. Существование подобного отношения к вещам, существование такого стихотворца усложняет жизнь современникам. В присутствии Рейна петь чистую радость жизни — так же, впрочем, как и повествовать о ней в сугубо минорном ключе — представляется трудоемким. Если прежде бороться с этим можно было замалчиванием его творчества, непечатанием его стихотворений или кастрацией их в печати, теперь это осуществимо посредством упреков в старомодности его технических средств, в повторяемости сюжета и интонации. Основания для этих упреков, увы, могут быть в лучшем случае чисто демографическими, т. е. опираться на появление на литературном поприще новых дарований, требующих к себе внимания. При всей естественности такого побуждения, уступка ему обещает дорого обойтись прежде всего именно самим этим новым дарованиям, ибо в каком бы жанре они ни выступали, у читателя будущего не будет иного выбора, кроме как воспринять их в качестве рейновских эпигонов.

В настоящем у Рейна вышли три сборника стихотворений; первый из них — когда автору исполнилось 50 лет. Публикацию двух последующих, с интервалами в приблизительно два года, следует, видимо, рассматривать как торжество справедливости. К сожалению, проблема с торжеством справедливости, заключается, по определению, в том, что оно наступает всегда с опозданием. В данном случае — с опозданием

в четверть века. Выход в свет "Береговой полосы" и "Темноты зеркал" с вышеупомянутым интервалом предполагает восстановление естественного процесса существования поэта в литературе. Это, боюсь, не соответствует действительности. Мы имеем дело не с естественным процессом, но с его имитацией — с мичуринской, так сказать, прививкой, клейких лепестков к сожженному дереву. Это звучит, должно быть, несколько мелодраматично, но слишком уж похоже на правду, чтоб от такого сравнения удержаться. Есть, к слову сказать, нечто труднопереносимое во всех этих нынешних запоздалых и посмертных публикациях: в жадности, с которой издатель — а зачастую и сам автор — кидается на внезапно предоставившиеся возможности. Что-то в этом есть от вдовы, у которой появились деньги, и она принялась наверстывать упущенное: набросилась на тряпки и появляется везде. Достойней зачастую проходить всю жизнь в одном единственном, застиранном и перештопанном платье — или, если уж действительно восторжествовала справедливость, издать страниц на двести-триста "Избранное". Это, надо надеяться, еще произойдет с Рейном, ибо ни три упомянутых сборника, ни этот, к которому читатель сейчас читает предисловие, не дали и не дадут ему представления о масштабе и о значении этого поэта для русской словесности. Есть авторы, выгадывающие от собрания сочинений, и есть теряющие — такие, как Фет или Тютчев, и Рейн принадлежит к этой последней категории.

У всякого крупного поэта есть свой собственный излюбленный идеосинкретический пейзаж. У Ахматовой это, видимо, длинная аллея с садовой скульптурой. У Мандельштама — колоннады и пилястры петербургских дворцовых фасадов, в которых как бы запечатлелась формула цивилизации. У Цветаевой — это пригород со станционной платформой, и где-то на заднем плане силуэты гор. У Пастернака — московские задворки с цветущей сиренью. Есть такой пейзаж и у Рейна; вернее — их два. Один — городская перспектива, уходящая в анилин, скорей всего — Каменноостровский проспект в Ленинграде, с его вишневым цветом конца века из модерна и арт нуво, сдобренный московским конструктивизмом, с обязательным мостом, с мятой простыней свинцовой воды. Другой — поместь Балтики и Черноморья, "залив с Кронштадтом на боку, / с маневрами флотов неслышных", с пальмами, с балюстрадами, с входящим в бухту пассажирским теплоходом, с новыми линкорами, передающими в строю фокстрот, публикой променада. Если в привязанности к первому сказывается сетчатка подростка, в навязчивости второго, в этом комплексе "береговой полосы" можно при желании различить нашего хордового предка, вышедшего из воды и сохранившего свои инициалы в имени Спасителя. Если первый

представляет собой рай потерянный или, во всяком случае, сильно скомпрометированный, второй есть рай возможный, обретаемый, и автору этих строк больше всего на свете хотелось бы усадить автора этой книги за стол на какой-нибудь веранде этого рая, положить перед ним перо и лист бумаги и оставить его на некоторое время — лучше надолго — в покое. Для вдохновения я положил бы ему рядом на стол Вергилия — лучше "Буколики" или "Георгики," чем "Энеиду", а еще лучше — томик Проперция. Что-нибудь, иными словами, лишенное амбиции и сочинявшееся, судя по всему, без спешки, с большим запасом времени. Спустя месяц-другой я зашел бы к нему взглянуть, что получилось.

Русской поэзии всегда не хватало времени — как, впрочем, и места. Отсюда ее интенсивность и надрывность — чтоб не сказать "истеричность". Созданное в существовавших параметрах — под сенью Дамоклова меча — за последние сто лет необычайно, но слишком часто окрашено комплексом — "сейчас или никогда!". Изуродованность поэтической судьбы стала у нас не меньшей нормой, чем ее прерванность, и поэт — даже начинающий — воспринимает себя и трактуется аудиторией в драматическом ключе. От него ожидается не сдержанность, а фальцет, не мудрость, а ирония или, в лучшем случае, искренность. Это — немного, и хотелось бы надеяться, что положение дел переменится; и, хотелось бы, чтобы перемена эта началась немедленно, с Рейна. Именно поэту хочется положить ему на стол Вергилия или Проперция. Овидием он уже был, Катуллом — тоже. Трагический удел им — на бумаге и во плоти — надо надеяться, исчерпан. Что до Горация, то после Ахматовой на эти лавры претендовать у нас некому и нельзя. Но на новые вергилиевы эклоги или элегии Проперция сил у Рейна хватить может и должно. Человек, живущий в империи, тем более — в разваливающейся, не много потеряет, отождествив себя с теми, кто, в сходных обстоятельствах, две тысячи лет назад, не позволил себе впасть в зависимость от творящегося вокруг, и чья речь была тверда. Последнего, впрочем, Рейну, чей голос зазвучал и не пресекся в эпоху имперского окостенения, не занимать.

Пусть автор не посетует на вышеизложенные пожелания. Фантазии вроде этой естественны при чтении собранных здесь стихотворений — при чтении с другой стороны земли. Пишущему это предисловие представляется, что опыт пережитого, накопленный в этих стихотворениях, может разрешиться только преодолением биографии и обретением тональности, родственной тональности ахматовских "Северных элегий". Более того, пишущий это предисловие должен признаться, что он предается этим фантазиям не только на счет Рейна, но и на свой собственный. Это объясняется не столько тем, что потерянный рай

Рейна как две капли воды похож на потерянный рай автора предисловия, с только сходством его и рейновского рая обретаемого. Если он, этот рай, существует, то существует и возможность того, что автор этой книги и автор предисловия к ней встретятся: преодолев свои биографии. Если нет, то автор предисловия останется во всяком случае благодарен судьбе за то, что ему удалось на этом свете свидеться с автором этих стихотворений под одной обложкой. Это немало. Их, стихотворений этих, физическое соседство с текстом этого предисловия является если и не торжеством справедливости, то, во всяком случае, внятной метафорой их неотделимости — на протяжении более чем в четверть века — от сознания автора этого предисловия. То, что их разделяет, — менее, чем страница.

Иосиф Бродский

ИМЕНА МОСТОВ

* * *

Окно на первом этаже над Невкой,
трамвай гремит на вираже возле мечети.
Я постучу тебе в стекло монеткой,
орел и решка — вот и все на свете.

Я подходил и видел через щелку,
как тень вразлет на потолке скользила,
все позабыл, лишь нитку да иголку
припоминаю в доме у залива.

Все ниже, ниже абажур спускался,
потом двенадцать за стеной било,
и пестрый кот приятельски ласкался,
а ты все шила. Как ты долго шила!

Еще дрожит под сквозняком рама,
еще шипит замолкшая пластинка,
но нет будильника, а подниматься рано...
И ночь сама примерка и блондинка.

МОСТ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Закат над широкой рекою
И город на том берегу
Исполнены жизнью такою,
Что я объяснить не могу.
Пешком возвращаясь с прогулки,
Гляжу на огни и дома,
Но ключик от этой шкатулки
Найти не хватает ума.
Подумать — Васильевский остров
Так близко — достанешь рукой!
Но, скрытен, как будто подросток,
Он что-то таит за рекой.
И желтое небо заката
Тревожно, и так же почти
Неясным волнением объята
Душа на обратном пути.
Но ведь неспроста, не впустую
Я с этим живу и умру;
Какую-то тайну простую
Я чувствую здесь на ветру.
Мелькают трамвайные числа
У площади на вираже.
Не знаю названья и смысла,
Но что-то понятно уже.

ФОНТАНКА

Четыре трубы теплостанции
И мост над Фонтанкой моей —
Вот родина, вот непристрастная
Картина, что прочих милей.

Как рад я — мы живы, не умерли,
Лишь лаком покрылись седым.
Какие знакомые сумерки,
Звоночек над рынком Сенным.

Теперь уже поздно, бессмысленно
Рыдать у тебя на груди;
Но вечно я слушал — не слышно ли
Твоей материнской любви?

Не слышно ли пения жалкого?
Что прочим о стенку горох?
Не видно ль хранителя-ангела
На трубах твоих четырех?

Родные, от века привычные,
Ваш голос и суд справедлив.
Сыграйте мне, трубы кирпичные,
Какой-нибудь старый мотив.

СОРОК ПЯТЫЙ

Маме

На мне пальто из пестренького твидика —
хорошее, германское пальто.
Глобальная имперская политика
четыре года думала про то,
как мне урон недавний компенсировать.
Про то решали Рузвельт и Черчилль.
Как одарить меня, сиротку, сирого,
проект им наш Верховный начертил.
Четыре года бились танки вермахта,
люфтваффе разгорались в облаках,
правительств по одной Европе свергнуто
поболее, чем пальцев на руках.
Тонул конвой на севере Атлантики,
и лис пустыни¹ заметал следы,
стратеги прозорливые и тактики
устраивали канны и котлы.
Но, главное, но главное, но главное —
я был красноармейцами прикрыт.
И вот стою, на мне пальтишко справное,
уже полгода я одет и сыт.
Стою я в переулке Колокольниковом,
смотался я с уроков и смеюсь,
и говорю с румяным подполковником,
и он мне дарит пряжку "Gott mit uns"².

¹ Лис пустыни — так называли фельдмаршала Роммеля.

² Надпись на пряжках немецких солдат "С нами Бог".

ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

В костюме васильковом, в жилете голубом
С Сережей Васюковым (о нем скажу потом)
На улице эстонской, у баров и кафе
С прическою тифозной на смутной голове
Он шел в начале лета пятнадцать лет назад,
Заглядываясь в бледнопылающий закат.
Чуть сзади шла подруга (о ней скажу сейчас).
Карабкалась по трубам, что капля в ватерпас,
Над мелким горизонтом янтарная луна.
И в хаки гарнизонном, чернява и бледна,
Пока еще невеста, хозяйка дел и слов,
Всезнайка и невеста, и первая любовь;
Ступая резковато на острых каблуках,
Ты здесь прошла когда-то, изрядно обругав
Сережу Васюкова за пошлый вкус в кино...
...В костюме васильковом! Пятнадцать лет! Давно!
Мы шли втроем по Виру. Теперь иду один,
Но вижу ту квартиру, те этикетки вин.
...На Каннском фестивале Сережа Васюков
Стоит на пьедестале из премий и венков.
Средь блочного комфорта окраинной Москвы
Горит ее конфорка, разбросаны носки.
Играют в детской дети, чья чужеродна кровь.
А Таллинн на рассвете как первая любовь
Среди бессонной ночи пятнадцать лет назад...
Но жизнь еще короче и сшита наугад!

ПОДПИСЬ К РАЗОРВАННОМУ ПОРТРЕТУ

Глядя на краны, речные трамваи,
Парусники, сухогрузы, моторки,
Я и тебя и тебя вспоминаю,
Помню, как стало легко без мотовки,
Лгуньи, притворщицы, неженки, злюки,
Преобразившей Васильевский остров
В землю свиданья и гавань разлуки.
Вздых облегченья и бешенства воздуха...
Годы тебя не украсили тенью,
Алой помадой по розовой коже.
Я тебя помню в слезах нетерпенья.
О, не меняйся! И сам я такой же!
Я с высоты этой многоэтажной
Вижу не только залив и заводы,
Мне открывается хронос протяжный
И выставляет ушедшие годы.
Вижу я комнат чудное убранство:
Фотопортреты, букеты, флаконы.
Все, что мы делали, было напрасно —
Нам не оплатят ни дни, ни прогоны.
Глядя отсюда, не жаль позолоты
Зимнему дню, что смеркается рано.
Выжили только одни разговоры,
Словно за пазухой у Эккермана.
Как ты похожа лицом-циферблатом,
Прыткая муза истории Клио,
На эту девочку с вычурным бантом,
Жившую столь исступленно и криво

В скомканном времени, в доме нечистом,
В неразберихе надсады и дрожи.
Ключик полночный, кольцо с аметистом,
Туфли единственные, и все же
Даже вино, что всегда наготове,
Даже с гусиною кожицей эрос
Предпочитала законной любви,
Вечно впадая то в ярость, то в ересь.
Если взглядеться в последнюю темень,
Свет ночника вырывает из мрака
Бешеной нежности высшую степень, —
В жизни, как в письмах, помарки с размаха.

СОСЕД КОТОВ

В коммунальной квартире жил сосед Котов,
Расторопный мужчина без пальца.
Эту комнату слева он отсудил у кого-то,
Он судился, тот умер, а Котов остался.

Каждый вечер на кухне публично он мыл ноги
И толковал сообщенья из вечерней газеты "Известия",
А из тех, кто варили, стирали и слушали, многие
Задавали вопросы — все Котову было известно.

Редко он напивался. Всегда в одиночку и лазил.
Было слышно и страшно, куда-то он лазил ночами.
Доставал непонятные и одинокие вазы,
Пел частушки, давил черепки с голубыми мечами.

Он сидел на балконе и вниз, улыбаясь, ругался,
Курил и сбрасывал пепел на головы проходящих.
Писем не получал, телеграмм и квитанций пугался
И отдельно прибил — "А.М. КОТОВ" — почтовый ящик.

Летом я переехал. Меня остановят и скажут:
"Слушай, Котова помнишь? Так вот он убийца,
Или вор, или тайный агент". Я поверю, мной нажит
Темный след неприязни. За Котова нечем вступиться.

За фанерной стеной он остался неясен до жути.
Что он прятал? И как за него заступиться?
Впрочем, как-то я видел: из лучшей саксонской посуды
На балконе у Котова пили приبلудные птицы.

О СОПРОМАТЕ

Я был студентом — сессия, зачет,
железные основы сопромата.

Кто понимает в этом — не сочтет
за чепуху рассказ стипендиата.

Да, было важно триста тех рублей
мне получать. И потому отважно

я поступил, когда среди друзей
пошел к Неве, не выдержав соблазна.

Глаза слепил адмиралтейский шпиль,
горел зачет — я с этим быстро свыкся.

”Так ты готов?” — но я не находил
разгадки, прислоняясь возле сфинкса.

Буксир тащился к пристани с баржей,
речной трамвай проплыл два раза мимо.

Над городом томился день большой,
и были рядом Леня, Леша, Дима.

И столько невской молодой воды,
такой запас столетья и здоровья,

что никакой не виделось беды
потратить день один на пустословье.

”Ну, что же?” — ”Начинается...” — ”Как раз...” —

”Вот через год...” — ”Но это слишком долго!” —

”Как надо жить?..” — ”Тайком ли, напоказ?” —

”И сколько сделать — столько или столько?”

Мы уходили по течению вниз

и шли назад, касаясь парашетов,

я думаю, что тот фиванский сфинкс

нам задавал вопросы без ответов.

КРЕСТОВСКИЙ

Что мне стоит припомнить Крестовский проспект,
где балтийские волны гудят нараспев
в ноябре, в наводнение, когда острова
заливают запоем залив и Нева?

Что мне стоит припомнить окно над водой,
занавешенное ветровой темнотой?

Что мне стоит припомнить, красотка, тебя —
как глядишь ты спросонья, висок теребя,
прибираючи прядь рыжеватых волос?

Я хотел бы узнать, как все это звалось?

То ли давним, забытым, отпетым годком,
то ль твоим знаменитым цветастым платком?

То ль вином "Цинандали", что цедили тогда,
то ль трубою Армстронга, что ценили тогда?

То ли новым проспектом пятилетки стальной,
то ли первой разведкой и последней войной?

То ль Татьяной, то ль Анной, Октябриной чудной,
Виолеттой нарядной и Надеждой родной?

Что мне стоит припомнить?

А вот не могу.

Там, где остров приподнят на крутом берегу,
за пустым стадионом рыданья копя,
я стою мастодонтом, забывшим себя.

ПАМЯТИ ВИТЕБСКОГО КАНАЛА В ЛЕНИНГРАДЕ

А. Кушнеру

Здесь был канал. Последний раз я видел
лет шесть назад, смешавшийся с рекой.
Зловонный, липкий, словно отравитель,
циан расположивший под рукой.

В послевоенных сумерках мелькая,
его волна катила времена,
и мелкая, но, в сущности, рябая,
она в Фонтанку падала до дна.

Она была настолько тяжелее
чужой воды, и, верно, был резон
зарыть канал; но я его жалею,
и для меня не высыхает он.

Сюда от Царскосельского вокзала
я приходил; мне помнится вокзал,
я пропускал трамваи, как раззява,
канала никогда не пропускал.

Над ним электростанция дымила,
морская академия жила,
и все, что было мило и немило,
его вода навеки унесла.

Весь этот век, когда мы победили,
всю эту жизнь, что проиграли мы,
прожекторы, которые светили
на лозунги среди глухой зимы.

В ночном бушлате, бутсах и обмотках
курсанты погружались в катера,
и карабины брякали на скобках,
на этих сходнях в пять часов утра.

Я это видел сам и не забуду,
меня война сгубила и спасла.
Она со мной и мой канал — покуда
я жив еще, до смертного числа.

Закопан, утрамбован по уставу,
и все-таки на свете одному
дай мне воды запить мою отраву,
канал, как Стикс впадающий в Неву.

ТБИЛИСИ В ЯНВАРЕ

Снова город восточный,
Соименник тепла¹.
Зимний, теплый, истошный —
Но уже без тебя.
Помнишь в том раскаленном
Номерочке двойном
Пахло одеколоном,
Мясом, луком, вином?
Помнишь, как загорела,
Что едва не слепа?
Вот опять "Сакартвело"²,
Но уже без тебя.
До Тбилиси пургою
Заметался мой след.
На Кавказе такое
Не случалось сто лет.
Холод в номере тесном,
Холод в небе пустом,
Холод в сердце мятежном
Под холодным бельем.
"Никогда не приеду,
Не приеду сюда", —
Говорю по секрету
В зимний сумрак с утра.

¹ Тбилиси — теплый по-грузински.

² "Грузия" — название гостиницы.

”Отпусти и покайся,
Разлетись, отойди,
Этой ночью погасни,
На снега упади.
Позабуду и спрячу
Все, чем связан с тобой!”
Я в Тбилиси, я плачу,
Под холодной звездой.

**УТРЕННИЙ КОФЕ
НА БАТУМСКОМ
МОРСКОМ ВОКЗАЛЕ**

Великий кофе на морской веранде.
Батум, как кекс, нарезан на куски.
А сливки по утрам невероятно,
Невероятно, сказочно густы.

Зеленый воздух булькает в рубахе,
Прохлада загребает не спеша —
Не стоит поворачивать обратно,
Бесповоротно надо жить, душа.

Тебя кофейник прошлый не накормит,
Не сдвинет поезд, отданный на слом,
Не бойся их, припоминай спокойно
На дне веранды за пустым столом.

Минувшее, как ангел из-за тучи,
Нам знаки непонятные дарит,
Жалеет нас, а может, правде учит,
А может просто что-то говорит.

Но недоступно это, непонятно;
И, спотыкаясь, сетуя, спеша,
Не стоит поворачивать обратно —
Бесповоротно надо жить, душа.

БАЛЛАДА НОЧНОГО ЗВОНКА

В этой старой квартире, где я жил так давно,
Провести две недели было мне суждено.
Средь зеркал ее мутных, непонятных картин,
Между битых амуров так и жил я один.
Газ отсвечивал дико, чай на кухне кипел,
Заводил я пластинку, голос ангельский пел.
Изгибался он плавно, и стоял, и кружил:
А на третьем куплете я пластинку глушил.
И не ждал ничего я, ничего, ничего!
Приходил и ложился на диван ночевать.
Но однажды под утро зазвонил телефон,
И дышал кто-то смутно, и безмолвствовал он.
Я услышал, как провод лениво шипел.
И ту самую песенку голос запел.
И была пополам — ни жива, ни мертва —
Песня с третьим куплетом, допетым едва.
"Кто вы, кто вы, — кричал я, — ответьте скорей,
Что сказать вы хотите этой песней своей?"
Но проклятая трубка завертелась в руке,
И услышал слова я на чужом языке.
Может, птица и рыба говорили со мной,
Может, гад земноводный или призрак лесной?
Может, кто-то на станции странно шутил,
Или, может быть, друг мой так скушно кутил?
Или женщина это позвонила ко мне,
Сверхъестественно номер подбирая во сне?

И сказала, что знала, лгала, как могла,
Полюбила, забыла и снова нашла.
Ей приснились мутные те зеркала,
И она разглядела, как плохо жила?
И, как прежде пристрастна, как всегда холодна,
Не хотела признаться и молчала она.

ФОНТАН

Сойду на пристани, взойду по лестнице,
Пройдусь по Пушкинской и Дерибасовской,
Войду во дворик я, где у поленницы
Стоит фонтан с разбитой вазочкой.

Он сонно капает слезою ржавою,
А прежде славился струею пресною.
И я припомню жизнь дешевую,
И роскошь южную и воскресную.

Рубашку белую и юность целую,
Тебя во дворике под полотенцами,
И ничего я не поделаю
Под полосатыми полутенями.

Так славно в августе, и надо малости —
Винца в бутылочке, мясца на вилочке.
А ты дурачишься, стоишь, ломаешься
В своем одесском переулочке.

Когда же вечером выходим в город мы,
Где одиночки горе мыкают,
И где купальщички проходят голые,
И пароходы за море двигают.

Тебе мерещится Европа глупая,
А мне — матраса дерюга грубая.
О, юность лютая, Одесса людная,
На пляжах галька, такая крупная.

Но твой проулочек забылся накрепко,
И вот теперь зашел и слушаю:
И нету хохота, и нету окрика,
Фонтанчик капает слезою рыжею.

У ЛУКОМОРЬЯ

”У лукоморья дуб зеленый...”
Мясной, тяжелый суп соленый
Да мутноватая бутыль.
Четвертый день несносный дождик,
Экскурсовод, лесник, художник
Погоды ждут — все гиль.

Привез леца я из Ростова,
У положенья холостого
Есть преимущество одно —
Внезапные перевороты
По поводу тоски, погоды.
В двенадцать дня темно.

Без пропусков обсерваторий
Тьма наступает, как Баторий,
Когда он шел на Псков
По этим вот местам священным.
Под влажносиним освещеньем
Готов я, не готов?

К огню и людям жмутся тени,
Стучат разбитые ступени.
Кто там? А никого...
Давно ли я ушел из дома?
Что это — сон или истома?
А счастье каково?

Не знаю. Жизни выкрутасы,
А может, девочка с турбазы,
Что забегаёт вдруг.
Иль шум дождя о рубероид,
Овчина, что меня укроет,
И голоса старух.

О чем они теперь судачат?
Мой век окончен? Он не начат,
Я только что рожден.
Сам перегрыз я пуповину,
Сегодня прожил половину,
Что будет завтра днем?

АЛМА-АТА

Ничего не надо, кроме
рынка в раннем сентябре,
дыни в перистой соломе,
пива светлого в истоме,
воблы в ветхом серебре.

Коль жара пошла к упадку,
опрокидывал я кадку
с ледниковой водой.
Мылся, брился, растирался,
в тех краях не растерялся —
утром приходил домой.

За рекой Алма-Атинкой
подружился я с блондинкой —
челка и зеленый взор.
Оказалось, что татарка.
Я купил ей два подарка —
брошь и ложки — мельхиор.

Были у нее ребята,
сын Тимур и дочка Тата,
а самой-то двадцать пять.
Дети в десять засыпали,
и тогда мы засыпали
рис в кастрюльку — вечерять.

Ели плов, а после дыни...
И глазами молодыми
говорила мне она:
"Буду жить подмогой детям,
никуда мы не уедем.
Нам судьба Алма-Ата".

Вот и все. И я простился
и в обратный путь пустился,
и пошел четвертый год.
Верно, и она забыла.
Что же все же это было?
Почему в душе живет?

ПЕРЕД СОЛНЦЕВОРОТОМ

Набережная Ялты в середине марта,
именитая публика еще не подгробала —
сыро, ветрено и прохладно,
на море волнение — три балла.

Все мы дети Цельсия и Реомюра,
ждем у моря случая и погоды,
вон блондинка в розовом приуныла,
одиоко разглядывая шверботы.

Сдвинем кружки, усядемся потеснее,
солнцеклонники в ожидании литургии.
Все, кто здесь, ошую и одесную,
братья свету, волненью волны родные.

Ну, а ты, делегированная Краснодаром,
прилетевшая к морю по горячей путевке,
вот увидишь — все сбудется, ведь недаром
точно пурпур богини твои обновки.

Нету близости больше, чем перед солнцеворотом,
нет единства светлее, чем перед загаром
с этой вот медсестрой, с этим разнорабочим,
с этим завучем, управдомом, завгаром.

* * *

Холодный песок прибалтийский
Замешан на талом снегу,
Как хочется мне проболтаться!
А вот не могу, не могу.

Ангиной во мне наболели,
И стали как-будто сродни
Последние числа апреля
И первые майские дни.

Над льдистой разрухой залива,
Норд-весту попав на прицел,
Стою, бормочу торопливо,
Что к месту сказать не сумел.

Мне больше не сладить с гортанью,
Как скоро меня извели!
И вот я причислен к молчанью
Холодной и дерзкой земли.

* * *

Арк. Штейнбергу

Тревожная осень, над городом свист,
Летает, летает желтеющий лист.
И я подымаю лицо за листом,
Он медлит, летя перед самым лицом.
Воздушный гимнаст на трапеции сна,
О, как мне ужасна твоя желтизна.
Посмертный, последний, оберточный цвет.
— Что было, то было, теперь его нет, —
Ты в этом уверен, поспешно летя,
Воздушное, злое, пустое дитя.
Но я говорю перед самой зимой:
— Что делать — таков распорядок земной.
Четыре сезона, двенадцать часов —
Таков зодиак, распорядок таков.
Пусть стрелка уходит, стоит циферблат,
Его неподвижность лишь учетверят
Четыре сезона, двенадцать часов.
Не бойся вращения минут и миров.
Прижмись, прислонись к неподвижной оси.
Терпенья и зренья у неба проси, —
Себе говорю я...

* * *

Под северным небом яснее всего,
Что нету совсем ничего. Ничего.

ВЗГЛЯД С КРЫЛЬЦА ДОМА ПОЭТА В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ

Крыльцо елозит под ногой — обледенело,
А мне приплясывать, скользить — забава,
Однако все же посмотри налево,
И прямо тоже, и потом направо.

Там за рекой поля — края снега,
Лес первый, лес второй, лес третий —
Такая тихость, глубина, нега,
Какую никогда, нигде не встретить.

А дальше что? Пойдет тайга, чащи,
алтйский берег или чухонский омут.
Но даже конь и аппарат летящий
Преодолеть пространство это могут.

А дальше что? Стоит сырой Лондон,
Зеленый лавр венчает путь к Риму.
Среди холмов латинских торф болотный,
Столь не похожий на родную глину.

А тут снега идут — сугроб до неба.
А наметет еще — дойдет до бога.
И жизнь тиха — от кабинета
Вся уместается — и до порога.

Когда метель стучит, как дождь с громом,
А жар от печек, что тоска, угарен,
Сидит и цедит кипяток с ромом
В селе Михайловском его барин.

ТАРУСА

М.Л.

Пустая гостиница стонет:
Мой номер велик и дощат,
И слышно бывает спросонья,
Когда половицы трещат.

Стоит бесконечная осень
Над медленной русской рекой,
И веет теплом кисло-сладким,
И тянет прохладой грибной.

А жирный чугунок сковородки,
Косое хмельное стекло,
Душистая шерсть одеяла
И днем увлекают в постель.

Зато, когда выйдешь под вечер,
Холодного пива хлебнешь
И сядешь над бойкой водою,
С размаха побрызгав в лицо.

Тогда безутешная ясность
Встает, как ночная заря, —
Как славно пожить здесь до смерти,
Но тут оставаться нельзя.

Должно еще что-то случиться,
А что, разберемся потом.
Граница, гробница, грибница —
Мерещатся ночью слова.

БРАТЬЯМ ЧИЛАДЗЕ

Кутеж над озером. Вечерняя прохлада.
Два гитариста пробуют струну.
Несут цыплят, и жирная бумага
Под шашлыком скоробилась в длину.

Вода и горы — вас совсем не видно,
Но ясно: где-то вы недалеко.
И чудно так от сердца отлегло,
И стало так свободно и невинно!

Да, что там говорить — я просто пьян,
Меня волна отравленная тянет.
Но это ничего — я, гидроплан,
Взлечу, когда дыханья не достанет.

Перемешаю мясо и чеснок,
Вино и соус, зелень и стаканы.
О, Господи, как их не валят с ног
Литровые пустые истуканы?

Иссохший сад дремучего стекла,
Ты разорен, но я в тебе блуждаю,
Я заплутал и около стола
Хозяев, как умею, ублажаю.

”Хотите-ка, ребята, я спляшу,
Хотите — выпью? Ну, какая малость!
Да что вы? Никуда я не спешу!
Куда спешить? Машина поломалась!

Я рад! Я раньше где-то вас встречал,
Вы оказали важную услугу
В начале. Да, начале всех начал,
Соединив свиданье и разлуку”.

”На холмах Грузии лежит ночная мгла...”
Теперь спеши. Душа на все готова.
Я слышу крик полночного орла —
Последнее напутственное слово.

ВОЗДУШНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Как пасмурно сверкает
Вечерняя Нева!
Полнеба задвигает,
Свергает синева.

Колени охвативши,
Сидеть, глядеть бы вдаль.
Спешу, спешу потише,
Воздушный календарь.
И та, что через двадцать
Минут придет сюда,
Она, быть может статья,
Одна — твоя судьба.
Два синих парохода
Зашли за синий мост,
Два долгих перегона
До ледовитых звезд.
Тогда поголубеет
Последний синий ряд,
И сразу огрубеет
Удобный твой наряд.
И вместо юбки тонкой,
сатина полотна,
Тебя сукном жестоким
Обтянут холода.
Примерзнут пароходы,
Разорены, мертвы;

Продернут переходы
Сквозь рукава Невы.
Но ведь никто не знает:
Зима наступит, нет?
И всякий называет
Один любимый цвет.
Что может быть синее
Зеленого зрачка?
И есть ли что сильнее
Такого пустячка?

КОГДА-ТО В ТАЛЛИННЕ

Взглянуть бы на старые шпили,
На старые камни взглянуть —
И там, где вдвоем проходили,
Балтийского ветра глотнуть.

Когда это все-таки было?
Хотя бы припомнить сперва.
О, как же меня закрутило,
Пока моя память спала.

Когда бы все точно припомнить —
До штопочки на рукаве,
Припомнить, как город приподнят,
А башни стоят на горе.

Как плещется мелкое море,
Как флаги летят на ветру,
А кофе в тончайшем помоле
Крепчает и тает во рту.

И комнаты темной убранство,
И тушь от расплывшихся век,
Любви молодое упрямяство,
Автобусов дальний разбег.

Я снова сойду в Кадриорге,
Я жду на трамвайном кольце...
И столько воздушной тревоги
В твоём непонятном лице.

Опять поспешу я с вокзала
На башни твои поглядеть,
И встанут года из развала,
И прошлое сбудется впредь.

ЧЕРНАЯ МУЗЫКА

Е.Е.

Их встретили где-то у польской границы,
И в Киев с восторгом ввезли украинцы.
В гостинице давка, нельзя притулиться,
Но гости под сильным крылом "Интуриста"
Сияли оттенками темной окраски
И мяли ботинками коврик "Березки".
А наичернейший, трубач гениальный
Стоял и курил. И трепач нелегальный,
Москвич, журналист, пройдоха двуликий
Твердил со слезой: "Вы Великий, Великий..."
И негр отвечал по-английски: "Спасибо!"
И выглядел в эту минуту красиво.
Заткнулись звонки, улеглись разговоры,
И вот, наконец, увлеклись саксофоны,
Ударник ударную начал работу,
Они перешли на угарную ноту.
О, как они дули, как воздух вдыхали,
Как музыку гнули, потом отпускали!
И музыка неграм была благодарна.
Певица толпе подпевала гортанно.
А сам пианист, старичок шоколадный
Затеял какой-то мотивчик прохладный:
"К далекой земле на реке Миссисипи
Мы с вами отправимся скоро на джипе,
На боинге, поезде и самокате
И будет там баиньки в маленьком штате."

Под небом насупленным рая и ада
Нас дождиком утренним тронет прохлада,
А день будет солнечным, долгим и чистым...”
Поклонимся в черные ноги артистам,
Которые дуют нам в уши и души,
Которые в холод спасают от стужи,
Которые пекло спасают истомой,
Которые где-то снимают бездомный
У вечности угол и злему чертогу
Внушают свою доброту понемногу.

ПЕРЕД ПРОЗОЙ

П. Катаеву

На подмосковной даче слетает желтый лист,
Последний теплый месяц, тридцатое число.
Гоняет по участку ребенок-футболист,
Стоит на солнцепеке расхлябанный шезлонг.

О, как здесь веселились, как горевали здесь
В июне и в июле под дождик и туман.
Какие только люди перебивали здесь!
Когда-нибудь об этом я напишу роман.

Съезжались гости поздно, в двенадцатом часу;
Смеркалось еле-еле, стоял солнцеворот.
Был тамада прекрасен и ни в одном глазу,
А гости, к сожалению, совсем наоборот.

Смеялись, целовались, терзались как могли.
Кого-то поминали под яблочный пирог,
Кому-то отпускали слова, грехи, долги;
Кому-то говорили: "Вот Бог, а вот порог!"

Брюнетка с перламутром помады до ушей,
Студентка в белых кедах, готовившая чай,
Любитель бледноватый цветных карандашей —
Я всем сказал однажды:

"Прощай, прощай, прощай!"

Спешила электричка, шуршал таксомотор,
Одни ушли, другие придрались к пустякам.
И только тамада наш, известный самодур,
Не замечал пустыни и наливал стакан.

Он выплеснул на скатерть последнее вино,
Заляпана посуда, и заалел крахмал.

”Ну, тамада, скажите, кто этому виной?”
Но тамада уходит, должно быть, он устал.

Последний теплый месяц, осенняя жара,
Которую все лето мы ожидали здесь.
И я сижу под кленом с восьми часов утра,
Как будто в этом клене вся честь моя и спесь.

В НОВУЮ АНГЛИЮ

И.Б.

На первом этаже выходят окна в сад,
Который низкоросл и странно волосат
От паутины и нестриженных ветвей.
Напротив особняк, в особняке детсад,
Привозят в семь утра измученных детей.
Пойми меня хоть ты, мой лучший адресат!

Так много лет прошло, что наша связь скорей
Психоанализ, чем почтовый разговор.
Привозят в семь утра измученных детей,
А в девять двадцать пять я выхожу во двор.
Я точен, как радар, я верю в ритуал —
Порядок — это жизнь, он времени сродни.
По этому всему пространство есть провал,
И ты меня с лучом сверхсветовым сравни!

А я тебя сравню с приветом и письмом,
И с трескотней в ночном эфире и звонком,
С конвертом, что пригрет за пазухой тайком
И склеен второпях слезой и языком.
Зачем спешил почтарь? Уже ни ты, ни я
Не сможем доказать вины и правоты,
Не сможем отменить обиды и нытья,
И все-таки любви, которой я и ты
Грозили столько раз за письменным столом.

Мой лучший адресат, напитки и плоды
Напоминают нам, что мы еще живем.
Семья не только кровь, земля не только шлак
И слово не совсем опустошенный звук!
Когда-нибудь нас всех накроет общий флаг,
Когда-нибудь нас всех припомнит общий друг!

Пока ты, как Улисс, глядишь из-за кулис
На сцену, где молчит худой троянский мир,
И вовсе не Гомер, а пылкий стрекулист
Напишет о тебе, поскольку нем Кумир.

НА МОТИВ ПОЛОНСКОГО

В одной знакомой улице
 Я помню старый дом...
 ...И ветер занавескою
 тревожно колыхал.

За улицу Герцена я жил и не платил,
 В Москве в холодном августе в трех комнатах один.
 Что мог хозяин вывинтил, не завершил ремонт,
 а сам уехал в Индию на медицинский фронт.
 Цвели обои в комнатах и делались белей,
 особенно на контурах пропавших мебелией.
 На кухне света не было, там газ светил ночной,
 я более нелепого не видел ничего.
 Ты приезжала к полночи со студии "Мосфильм",
 я слышал, как беспомощно "Москвич" твой тормозил.

Как жил я в этих комнатах, так не живу сейчас.
 Там был букет, обмокнутый в большой цветастый таз.
 Ты целовала сердце мне, любила как могла.
 За улицу Герцена уж обмерла Москва.
 В оконных отражениях и в прорубях ворот
 мелькала жизнь, что грезилась на десять лет вперед.
 За плотной занавескою, прикрывшей свет и тень,
 уж притаился будничным непоправимый день,
 когда на этой улице под майский ветерок
 мы разошлись, разъехались на запад и восток.
 И на углу, где к Герцену выходит Огарев,
 свою обиду вечную я высказать готов —
 на то, что годы канули; пора бы знать нам честь,
 а встретимся ли заново — Бог весть, Бог весть, Бог весть!

* * *

Мокрой зимы всепогодные сводки
нам объяснить на прощанье готовы
невероятность мечты-первогодки,
важную бедность последней обновы.

В старой усадьбе бессмертные липы
нас пропускают едва на задворки,
но присмирившие, как инвалиды,
шепчут вдогонку свои поговорки.

Вот и стоим мы над белым обрывом
мутном отливе последнего света.
Было безжалостным и справедливым
все, что вместилось в свидание это.

Все, что погибло и перегорело,
и отравило последние стопки.
Вот и стоим на границе раздела,
как на конечной стоят остановке.

Вот почему этот мокрый снежок
склеил нам губы и щеки засыпал,
он, как упрямый студентик-заочник,
выучил правду в часы недосыпа.

Правду неправды, удачу неволи —
то, что отныне вдвоем приголубим.
Не оставляй меня мертвого в поле,
даже, когда мы друг друга разлюбим.

СТИХИ О ФОРТУНЕ

Под крупные проценты бери, пока дают
Поблажки и презенты — а там, гляди, убьют.
Когда совсем не спится, гуляю по ночам
За улицей Мясницкой, где банк и Главпочтамт.
Когда-то жил напротив я со своей семьей,
Но, что-то там напортив, я не пришел домой.
И жизнь пошла по новой, и я остался цел,
То лаской, то обновой замазывая щель.
Что отняла — вернула, чтоб не был я сердит.
Как будто бы фортуна открыла мне кредит.
Среди зимы и лета мой ангел не зевал,
Паденье самолета нарочно вызывал,
Устраивал попутно крушение такси,
Чтоб не было обидно до гробовой доски.
Чтоб я ценил удачи чужое ремесло,
Мне так или иначе везло, везло, везло.
На темные припадки, на бедную хвалу,
На скользкие лопатки, прижатые к стеклу.
От улицы Мясницкой до Сретенских ворот
Среди толпы мне снится шестидесятый год.
И молодость и смелость у времени в глуши,
И эта малость — милость единственной души.

ПЕРВОЕ ИЮНЯ

Что сегодня? Первое июня —
первое июня навсегда!
В доме спят, и светом полнолуныя
черная заполнена вода.

Поезда перебегают к югу,
промывает небеса Гольфстрим...
Протяни во сне, товарищ, руку,
этой ночью мы поговорим.

Зеленью, куриной слепотою
зарастает поле под окном.
Первое июня молодое
ничего не знает ни о ком.

Две собаки дремлют на веранде,
птица притаилась под стрехой.
Что же вы, товарищ? Перестаньте
плакать на рассвете. Бог с тобой!

И пока мы не проснемся оба,
дорогой товарищ, лучший друг,
колыбель качается у гроба,
целину распахивает плуг.

Корни неба и земли едины —
скоро в этом убедятся все...
Истребители и серафимы
тарахтят на взлетной полосе.

УЗЕЛ

Е.С.

Мы жили рядом. Два огромных дома,
по тысяче квартир, наверно, каждый,
не менее. И оба знамениты
в столице этой брошенной и ныне
считающейся центром областным.
Нас разделял унылый переулок,
как и дома, изрядно знаменитый
одной из самых популярных бань.
А для меня еще старинной школой,
построенной купечеством столичным,
как говорили, лучше всех в России...
За девять лет я кончил десять классов
(поди, не всякий эдак отличился!),
но, впрочем, не об этом речь совсем.
Мы жили рядом. Я звонил в любое
из четырех времен, объяввших сутки,
и, кажется, на сто моих звонков
она не подошла четыре раза,
ну, пять, ну, шесть, но все-таки не больше.
Я назначал свиданье в переулке,
давал ей четверть часика на то, что
у женщин называется порядком,
и выходил. Она уже ждала.
Она всегда уже была на месте.
И это почему-то восхищало
и восхищает до сих пор меня.
Она приехала в мой город из Сибири.

В ней, очевидно, проступало счастье
от жизни у Невы и Эрмитажа,
дворцов Растрелли, чуда Фальконета
и кучи просвещения и красот.
Я выходил из подворотни и
глядел на полноватую фигурку
(чуть-чуть, ведь в этом что-то есть —
при должном росте, правильной осанке,
два лишних килограмма — не беда!)
Мы посещали садики, киношки,
пустующие выставки и просто
мне милые пустынные места —
как, например, Смоленку, Пряжку, остров
Аптекарский и тот кусочек взморья,
что неизвестен, издавна запущен,
завален ржавыми, сухими катерами
и досками соседних лесопилок,
и всяким хламом, — знаете его?
За стадионом он напротив стрелки.
Мы что-то ели, если были деньги,
то покупали красное вино
(она другого и не признавала),
и возвращались на речном трамвае.
Мы поднимались на второй этаж
в мою запущенную комнатку
и пили чай, который я умел
заваривать по старому рецепту.
И я всегда, всегда, всегда, всегда
одну и ту же доставал пластинку,
и радиола долгими часами ее играла.
Горела лампа в пестром абажуре
густым и сладким светом. Вечерело.
Она вытягивала ноги и просила
мой старый свитер — было зябковато,
когда мы выпускали дым в окно.
И было так спокойно. Никогда
мне больше не бывало так спокойно.
Шипел адаптер, разлетался дым,
часы постукивали на буфете.

Я твердо знал, пока она со мной,
покой и ясность, медленная сила,
как плотная свинцовая защита,
вокруг меня. Сибирская Диана,
чуть утомленная прогулкой и охотой,
при тусклом свете затаенной лампы
она была охраной мне, она
одна за нас двоих хранила
покой, в котором бодрствует душа.
Когда я открывал глаза, то видел
ореховые волосы ее,
лежавшие и медленно и тяжело.
(Хотел бы описать точнее, но
не получается.) Тяжелая прическа,
напоминавшая античный шлем,
тем более, что были там и пряди
светлее прочих, словно из латуни.
Овальное курносое лицо,
две родинки на твердом подбородке,
и, Боже мой, зеленые глаза.
Совсем зеленые, как старое стекло,
того оттенка зелени, который,
по-моему, синей всего на свете.
Тогда мы заводили, не спеша
полубеседу, полуразвлечение:
"Послушай, если сможешь, —
она вдруг говорила, —
поедем в воскресенье
хоть в Гатчину или куда захочешь.
Я в Гатчине была назад полгода.
Какой там парк запущенный, дворцовый!
Я там нашла еловую аллею,
и если ты со мной поедешь,
до смерти не забуду этих елок".
И слово "смерть" она произносила
серьезно и при этом улыбалась
мне уголками губ и поправляла прядь.
И я не знал еще, что всякий день и час,
не связанный в томительный и тесный,

неразделимый узел соучастья,
есть попусту потерянное время.
А впрочем — тут правил нет!
Ведь я любил ее. И я об этом
узнал потом...

В ПАРКЕ

В. Кирсанову

В закрытом на просушку парке
для разыгравшейся овчарки
разбег и холоден и мал.
Ее хозяин смотрит хмуро.
"Все прочее литература", —
я раньше это понимал.

Среди песочниц и детей
все в том же парке через месяц
слезает белочка с ветвей,
через скамейку перевесясь,
берет орех. Толпа глядит
и что-то понимает тайно:
жизнь не пуста и не случайна.
Вот то-то же. Толпа следит.
Молчанье на ее лице,
в начале Слово и в конце.

* * *

Все незнакомо в этом доме,
все тихо.
Из окон вместо окоема
видна Плющиха.
На кухне кактус, в ванной свечка,
бутыль томата.
А на окне горит сердечко
губной помады.
Ты столько белого надела,
как на причастье.
И неужели ты успела
к стеклу прижаться.
Повсюду складки и застёжки
лежат волнисто.
Переступить их осторожно
и завалиться:
на мятом валике, на пледе,
на одеяле,
чтобы твои сухие плечи
запотевали.
Мы ничего не упустили,
мутясь в рассудке,
все, что имели, уплатили
за эти сутки.
Теперь уже не откупиться
добром и кровью,
осталось нам распорядиться
своей любовью.

ОЗЕРО ПЮХАЯРВ

Г.Е.

Вечер с красным вином в нигде.
Автопортрет в проточной воде.

Поднимешь глаза — и мелкой волной
смывается все, что было тобой.

Усталый и толстый остался на дне;
он стал водяным — и доволен вполне.

А кто-то шарахнул по мокрым мосткам
летучею рыбой к ночным облакам.

"MELENCOLIA"
ГРАВЮРА АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА

Подойди к подоконнику,
Обопрись, закури.
Теплота потихонечку
Растворится в крови.

Все тесней и мучительней,
Все сильней и больней,
Глубже и возмутительней,
Лучше, больше, умней.

Чудеса меланхолии
Окружают тебя.
Волоски колонковые
Украшают тебя.

Хочешь — маслом и темперой,
Хочешь — сильным резцом, —
Но чем дальше, тем жертвенней
Связь твоя с образцом.

На гравюре у Дюрера,
Где волшебный квадрат.
Только, чур его, чур его!
А не то — замудрят
Эти числа и символы.
Лучше жить в простоте,
Хоть она непосильнее

Временами, чем те,
Что тесней и мучительней,
Все сильней и больней,
Глубже и возмутительней,
Лучше, больше, умней.

* * *

За Смоленской церковью
на немецком кладбище
сквозь решетку редкую
прохожу, гуляючи.
Вижу фиолетовый
свет над краем гавани,
точно бертолетовой
соли полыхание.
Что ж не стал я химиком,
химиком-механиком?
А хожу на кладбище
непутевым странником?
Ветреная молодость?
Молодые прения?
Голубая ведомость —
годовая премия.
И прошло, и сгнуло
над рекой Смоленкою,
только душу вынуло,
сдуло легкой пенкою.
Позабыл могилы я
польские, немецкие,
и цеха унылые,
и слова простецкие,
и опять приходится
мне ходить на кладбище,
и водить, как водится,

за собой товарища.
Только ты красавица,
умница, художница,
и тебя касается
то, что мне не можется
вечерами летними,
светлыми и хмурыми,
меж крестами ветхими,
склепами, амурами,
встречами короткими
и смертями долгими
на траве кладбищенской
с колосками колкими.

30 ДЕКАБРЯ

В новогодних сумерках московских —
чвак и чмок.

Вот бреду я вдоль витрин раскосых
под снежок.

Ты мне говоришь: "Уже недолго —
наш чердак".

Мех намок, и так тепло и колко.

Видишь флаг?

А за ним прожектор в поднебесье?

Но молчок!

А на Патриарших конькобежцы —
чик и чок.

Вот придем и разогреем чаю,
ляжем спать.

Ангел мой, я и сейчас не знаю,
что сказать.

Погоди, наступит год богатый,
схлынет бред.

Завернись тогда в густой, мохнатый
старый плед.

Прислонись последний раз щекою
навсегда.

Я хотел бы умереть с тобою?

Нет и да.

ЗАБЫТЫЙ ФИЛЬМ

Смирновым

На занюханной студии в пустом кинозале
равнодушный механик крутит старую ленту.
Ничему не радуйся поначалу,
не ищи исчезнувшее бесследно.
Просто ты попал в густую халтуру —
режиссер уволился, оператор в запое,
и не вздумай пожаловаться сдуру,
будто кто-то там нехорош собою.
Все прекрасно — особенно та девица
в откровенном купальнике на старинном пляже,
а за нею с ухмылкой рецидивиста —
некто в кепке, годящийся ей в папашу.
Почему он хватает ее за плечи?
Никогда я не вел себя так развязно.
А она отвечает: "А ну, полегче!"
Но видать по глазам, что на все согласна.
Что-то припоминаю, что-то припоминаю...
В результате, конечно, она его выдаст,
но из этого, как я понимаю,
все равно ничего не выйдет.
Что за актеры? Это не актеры.
Значит, это хроника? Нет, это правда.
Сколько можно? Полфильма идут повторы.
Ах, упрячьте всю эту муру обратно.
Но составьте мне кадрик на память, ладно?
Как оборванный ящеркой хвост судьбины,
вечный призрак, светлеющий ненаглядно,
место встречи истины и картины.

* * *

Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать...
А. Пушкин

Воронцовский дворец все на том же месте —
полуподлец строил прочно для полумилорда,
и на той же лестнице, преданная без лести,
щурится аракчеевская львиная морда.
Южный полюс императорского Третьего Рима
или иллюстрация к Вальтер Скотту.
Мы здесь были вместе, и ты незримо
из неволи памяти выбираешься на свободу.
Узколиций профиль с пучком на затылке
на фоне флоры,
как записка в запечатанной бутылке
в море.
Неужели никогда, никогда не прочитаю
кораблекрушения разгадку?
Никогда не загляну с другого края
за подкладку?
Так и буду помнить: понедельник,
запертый дворец, пустое море —
сам себе доносчик и соперник,
уличивший сам себя в крамоле.
Хоть словечко подскажи, подбрось мне
с берегов своей отчизны дальней,
все прошло — и рассказы и козни,
только свет стоит пирамидальный.
В пустоте над сушей и над хлябью
полдень с высоты буравит темя;
разогреет и узор на платье,
точно тень отбрасывая время.

* * *

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...

А. Блок

О, мой демон с лазоревым бантом,
жил ты вольно, но трудно почил.
Долго был ты моим консультантом
и серьезно меня обучил.

Но профессор Замойский-Демидов
рассказал нам подробно о том,
что подкрасил ты комплекс эдипов
материнским больным молоком.

Как ты гнал лихача пожилого
белой ночью, над Невкой летя.
Как безумного, полуживого
Люба с Борей любили тебя.

Как рыдал ты в мятеж ошалелый,
возведенный, что храм на крови,
как носил ты сюртук порыжелый
и снега разгребал на пари.

И пока тебя не закопали,
все играл ты заглавную роль, —
точно черную розу в бокале,
принимал за судьбу алкоголь.

О, любовник из жгучих и лживых,
ты со мною, покуда живу,
в кабаках, в переулках, в извивах,
в электрическом сне наяву.

* * *

Рынок Андреевский, сквер и собор,
А за домами
Дымный закат разливает кагор
Над островами.

Ярче малины слащавая муть,
Мало осталось.
Я бы хотел до конца протянуть,
Что бы ни случилось.

Жил я когда-то на той стороне,
возле Фонтанки.
Падал, вставал, повисал на ремне
автоболтанки.

А спохватился — чужая мигрень,
Тушь на подушке.
Что я запомнил в последний свой день
В той комнатушке?

Стол, да бокал, да зеленое бра
под занавеской.
Вот я и вышел в четыре утра
Прямо на Невский.

Вот и прошел с чемоданом квартал
До паровоза.
Все озирался и слезы глотал —
Бедная проза.

ИЗ СТАРОГО СОННИКА

Я еще приеду в этот тесный город,
где от Колизея до Адмиралтейства два всего шага;
где зимой и летом над Святой Софией и в Замоскворечье
теплая пурга.

Где с пропиской вечной вас встречают чаем
и дают горбушку пирога.

Там-то на бульваре, около читальни,
сяду на скамейку, стану ждать тебя.

И закат на город наведет прожектор
окна и витрины ослепя.

И тогда в песочнице за кустом жасмина
запоет дитя.

В розовом и винном и вишневом свете,
променад свершая, всяк помедлит чуть.

И тогда, прислушиваясь к детскому напеву,
я пойму, что все уже тут как тут.

Только ты, конечно, опоздаешь —
это верная примета — на пятнадцать

или двадцать пять минут.

Вот и отключается лампа дуговая,
сходит свет последний на моем лице.

Около фонтана ждет тебя другая
темная фигурка в старом пальтеце.

Если тебя нету и на этом свете —
значит, все напрасно. И напрасно плачет
за кустом жасмина мальчик об отце.

* * *

Жизнь, кажется, висит на волоске.

А. Ахматова

Второпях, второпях —
 уходила невнятно и грубо, —
 постояла в дверях
 и цедила сквозь сжатые зубы
 два-три слова.

Я так их пытался понять и не понял...

Подошел, потоптался, взял за руку, все-таки обнял:

— Ну, прощай...

— Ну, прости...

— Навсегда?

— Знаешь сам, не иначе.

— Подожди.

— Отпусти.

— Будь здорова. Желаю удачи. Подними воротник.

— Не твоя эта больше забота.

... Этих плеч подкладных

и пальто из того коверкота

я не видел сто лет и теперь никогда не увижу.

— Что ты шепчешь "в столе"? Что в столе?

Мне не слышно, поближе

подойди. А? Но это пустяк,

фанфаронство, бирюльки.

— Что поделать? Пусть так!

— Я пойду постою в переулке.

Посмотрю, как смешаешься с темной осенней толпой.

Что ты маешься? Что ты? Не плачь, я не стою

этих слез. Просто ты — моя жизнь,

а не женщина,

что иногда называют этим именем...

ПЕРЕД ОТПЛЫТИЕМ

В самом дальнем отростке Средиземноморья,
в грязном баре среди чужого застолья,
за два года до собственного полувека
невозможно изображать полубога,
потому что не вышло из тебя человека.
Разве ты думал когда-нибудь про сорок восемь
и про то, что вот-вот закрывать базарчик?
Разве флот, подплывающий к Сиракузам,
не поджег архимедов приветливый зайчик?
Вот как раз, направляющийся к Батуму,
белый лайнер концы отдаёт вместе со мною.
Я попробую обойти фортуна
и пристроиться за её спиною.
В этом тихом краю есть свои интересы:
свет холодный, что северное сиянье;
как известный в белые деньки повеса,
здесь приму я тяжелой руки касанье.
И блондинка в розовом, ободряя взглядом,
проходя мимо столика, приглашает на дом,
и вполне соглашается с таким раскладом.

* * *

Мутно марево. Дали нечетки,
за вагоном глухие снега.
Но великое зреньё ночевки
покидаю, стою у окна.

Фонари неприкаянных станций,
неприступные тени лесов
отлетают, как души в пространстве,
набегают, как стрелки часов.

И чем дальше, тем большую ясность
открывает последняя даль —
никогда не проходит опасность,
никуда не уходит печаль.

Все, что есть между тьмою и тьмою, —
только зрение, только окно,
и оно неразлучно с тобою,
но тебе под залог вручено.

И уже не вернешь, не расторгнешь,
погибая в экспрессе ночном;
обрывая под пломбою тормоз,
ты останешься перед окном.

Я покинул чужие святыни
и последние крохи свои,
чтобы видеть глазами пустыми
обе стороны у колес.

* * *

Младенчество. Адмиралтейство.
Мои печали утолив,
не расхлебаю дармоедства
всех слов моих у снов твоих.

Вот с обтекаемых ступеней
гляжу на дальние мосты, —
там движется вагон степенный,
назначенный меня спасти.

Возить к раздвоенному дому,
сосватать женщине седой,
пока позору молодому
стоять за утренней слюдой.

Он выследил: нас арестуют
за бессердечие и жар,
в постыдных позах зарисуют,
отпустят, как воздушный шар.

Ударившись о подворотню,
он снова выдаст нас, беда!
Лови меня за отвороты,
тебе в постель, а мне куда?

Согласным берегом куда мне,
рассветной этой чистотой,
буксир развесил лоскутами
знак бесконечности с тобой.

Как будто плот органных бревен,
тая дыхание, поплыл —
со всем, что было, вровень, вровень,
все подбирая, что любил.

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА

КАТОК "СПАРТАК"

На памятном бульваре
Прекрасный холодок.
Зима уже в ударе,
Опять открыт каток.

За полчаса стемнеет,
Фонарики зажгут.
Сильнее сатанеет
Спартаковский лоскут.

На поле темно-красном
светла диагональ.
И было в с е напрасным —
Но только э т о жаль.

НА СТАРЫХ УЛИЦАХ

На старых улицах никто тебя не знает,
Международный ¹ чист и нелюдим.
Толпа безмолвная с автобуса слезает,
и ты один.
Сверни к Плеханову, а хочешь — на Сенную,
пойди к Гороховой, а лучше сразу в Буфф.
Скажи тихонечко: "Я больше не ревную"
на пальцы помертвелые подув.
Все так же целится шрапнелью батарея
и снится Менделееву табло,
все неразборчиво и все-таки светлее,
чем запотевшее стекло.
О, родина моя, не узнаешь, не знаешь.
И все-таки я твой. Совсем темно.
Но напоследок вдруг зовешь и утешаешь
тем, что засветится окно.
И кто-то подойдет, и тронет занавеску,
и поглядит, не видя ничего,
как на Фонтанке мальчик тянет леску,
пустую леску — только и всего.

¹ Старое название Московского проспекта в Ленинграде.

БАЛКОН

— Домой, домой! — Не так-то просто
 От Автова до Льва Толстого.
 Но оставаться слишком поздно,
 А ночевать — не та основа
 У отношений. Значит, утром —
 Упреки или перебранка...
 И будут несусветным чудом
 Простые слезы без припадка.
 Но позолочена пилюля,
 Сегодня пятое июля,
 Полтретьего на циферблате —
 Сие считается рассветом.
 Остаться? Нет, чего же ради?
 Такси случается и в этом,
 Пустынном и глухом квадрате.

.
 Через Фонтанку и Калинин
 К реке прикованный цепями;
 Как бы садовою калиткой
 И на Садовую. Цепляя
 Боками Маклина, Сенную,
 Демидова и Чернышева.
 На Невском тени врассыпную!
 — Теперь уж скоро! Хорошо бы! —
 Темнее крови Инженерный
 Ждет заговорщиков, как прежде,
 И вот восходит ежедневный
 Восход во всей своей надежде.

Нева от Ладоги к Балтфлоту
Летит, как адмиральский катер,
А я уже держу банкноту.
Поскольку близок дебаркадер.
Причал. На Каменноостровском
Стоит мой дом. Балкон огромен.
Ребенком, мальчиком, подростком
Я здесь бывал. И он построен
И для меня. Хотя, возможно,
Построен он гораздо раньше.
Недаром мой балкон роскошный
Две голых держат великанши.

* * *

Памяти Глеба Семенова

Заснеженный Крылов насупился над басней,
а книгу завалил крещенский снегопад.
В единственном саду, что может быть опасней,
стоять среди зимы, как тридцать лет назад?

Такая пустота раскинута в аллеях,
и временный надзор решетки над рекой,
в единственном саду нет правых, нету левых,
куда ни поверни — дойдешь до Моховой.

Вернувшись с похорон сварливого провидца,
перемешаем спирт с кладбищенской землей,
в единственном саду все может повториться,
но только не сейчас, а после нас с тобой.

Холодные мосты следят за ледоколом,
что свежим трауром фарватер проложил,
что басней сбудется, что станет протоколом,
определит Крылов — он вместе с нами жил.

В прапамяти Невы, решетки и мартышки,
мы вместе, ни один пока не отличим.
Так записал Крылов в своей тяжелой книжке,
в единственном саду предстанем перед ним.

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ

На теплоходик "Волгобалт"
я провожал жену и сына.
Нас словно кто-то оболгал —
и маялась душа, повинна.
Вокруг шумел морской вокзал,
но в ресторане было пусто,
сквозняк над нами полоскал
паласы, и качалась люстра.
А сталинский могучий флот
несокрушимую эскадрой
свершал последний переход
на фреске тесной и нарядной.
Флажками говорил "Марат",
и желтый адмиральский катер
мутил меня, что лимонад,
покуда плыл за дебаркадер.
Флот уходил в последний бой:
"Гангут" пылал, "Марат" дымился,
и я разгромлен был судьбой
и нестерпимо утомился.
Я думал мальчику сказать,
что виноват, и взять на плечи,
но трудных губ не мог разжать
и поступил куда полегче.
Купил пирожных, и пивка,
и заливную осетрину,
и вот теперь, издалека,

что я скажу об этом сыну?
Прости, что падший адмирал
губами не припал к матроске
твоей, что мало целовал
твои горячие ладошки.
Прости, разболтанный линкор
забыл в сраженье об эсминце,
и опрокинутый ликер
залил на галстук "Вестминстер".
Милорд, матросик мой, малыш,
запомни этот день в норд-весте.
Я знаю — ты не укоришь
меня в обдуманном злодействе.
Но сам себе я говорю:
"О, деточка, милорд, матросик,
за то я и сейчас горю,
что слышу долгий отголосок
невнятной жалобы твоей —
вот до отплытия минута,
и грохот якорных цепей,
и гибель старого "Гангута".

* * *

Легкий снежок прогулки
между двумя метро.
Все мы твои придурки,
как без тебя мертво!

Что же? Бери за ворот
и говори: "Люби!"
Шелковый бант приколот,
только не отступи.

Хочешь — стяну потуже?
Дай — распущу совсем!
Или верни мне душу,
или назначь никем.

СТИХИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И. Волгину

Был я в городе Старая Русса.
Достоевский писал там Иисуса,
что на Митю-Алешу разъят.
Вез меня теплоход-агитатор,
вез он лекцию, танцы и театр —
обслужить наливной земснаряд.

Это было июнем холодным,
что потворствовал лишь земноводным.
Дождик шел девять суток подряд.
Воскресение. Троица, праздник,
и немало усилий напрасных —
обслужить наливной земснаряд.

Трезвым был земснарядовский сторож,
ленинградский блокадник-заморыш,
поселившийся в этих местах.
Да еще замполит, постаревший
прежде срока, и сам Достоевский
с неразборчивой фразой в устах.

Дело в том, что салон теплохода
разукрасили так для похода:
диаграммы, плакаты, флажки.
А над ними висели портреты:
фраки, бороды и эполеты —
всей России вершки-корешки.

Здесь висели Толстой, Маяковский,
дважды Пушкин, однажды Жуковский —
всякий гений и всякий талант.
Даже Гнедич; конечно, — Белинский,
Горький в позе стоял исполинской,
и, естественно, местный гигант.

Он глядел, эпилептик, мучитель,
бил в глаза ему мощный юпитер,
а к двенадцати зал опустел.
Свет погас, и могучие тени
пролегли от угла, где Есенин,
до угла, где Некрасов висел.

Повернул теплоход-агитатор,
увозя просвещение и театр,
и зашлепал по рекам назад.
Шел в столицу он, спали актеры,
спали реки, плотины, озера...
Захрапел наливной земснаряд.

Спало слово в земле новгородской,
спали книги на полке громоздкой,
задремал Волго-Балта канал,
замполит, капитан засыпали,
спали гении в чистой печали,
лишь один Достоевский не спал.

* * *

Н.

Ты читаешь вполголоса,
Абжур светлокож.
Свет, пронзающий волосы,
На сиянье похож.
В этот вечер гадания
Все, что будет, сошлось,
И скрестилось заранее,
И пронзило насквозь.
Чем страшнее история
В старой книге твоей,
Тем яснее крестовая
Тень в проеме дверей.
То обиды и горести
Точно доски грубы...
Вот и свежие новости
С перекрестка судьбы.
Ты читаешь, не видишь их,
Так и быть — не гляди.
Все осилив и выдюжив,
Ты прижмешь их к груди.

БОРИС И ЛЕОНИД¹

В пятьдесят шестом на бульваре Тверском
я у них в гостях побывал,
и огромный арбуз на столе стоял
сахарист, надтреснут и ал.
Я читал им запальчивые стихи,
возмечтав о судьбе Рембо,
и внимательно за ними следил
в створки сдвинутые трюмо.
И один недовольно в усы ворчал,
а другой веселел зрачком.
Так я понял, что я их пронять не смог,
что явился я с пустяком.
Я, пожалуй, был симпатичен им,
но ведь ждали они не меня,
каждый час мог явиться другой поэт,
представляющий времена.
Потому для меня самый смачный кусок
из арбуза вырезан был,
и усатый десятку в прихожей мне
дружелюбной рукой вручил.
Дверь неплотно захлопнулась, и когда
я шагнул на ступеньку вниз:
— Как ты думаешь, будет толк, Леонид?
— А из нас вышел толк, Борис?

¹ Б. Слуцкий и Л. Мартынов.

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ

А. Смирнову

Я десять лет играл в защите —
за школу, лагерь, институт.
Великодушно не взыщите,
я навсегда остался тут.

Я в парусиновых сандалях
и в бело-голубых трусах
витийствовал во всех скандалах,
у всех был притчей на устах.

Когда разгоряченный форвард
планировал к моим ногам,
я поворачивал, как ворот,
его затылком к облакам.

Я закрывал свои ворота,
бил кулаками вратаря.
Коль мы выигрывали что-то,
то только мне благодаря.

Я ждал измены и набега,
шемякина суда судьи,
как искалеченный калека,
я раны уважал свои.

Мне открывался центр защиты,
что от пустынь до хладных скал,
пусть наших бьют, мы будем квиты,
я никого не выпускал.

Я понимал, что там за мною
легла последняя черта,
и если я чего-то стою,
то только верностью щита.

Я был вершитель и зачинщик
того, что тут же шло на слом.
Не подходите — я защитник,
убийца, зверь и костолом.

ПАМЯТИ АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

Одесский известняк, российский дуб мореный,
Кривой могучий клык из стали вороненой,
Приемник "Сателлит" на письменном столе.
Ты где, хозяин их? На этой ли земле
Среди библейских стоп слепого громовержца?
Быть может, поправим разрыв такого сердца?
Ты весла не возьмешь, не разовьешь веревку,
Не сносишь в полчаса заморскую обновку,
Не оглядишь картон, грунтованный искусно...
Что вспоминать, как быть?

На этом свете грустно
И пресно без тебя меж службой и крамолой.
Какой ты суп варил, грибной, родной, тяжелый!

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

На старой даче в Сестрорецке
среди террасок и аркад
сидит любовник постаревший
и курит, глядя на закат.

Помадою на "Беломоре"
распутничают небеса,
влетают мирные амуры,
перед хозяйкой лебезя.

Она глотает чай холодный
и щурит невеселый взор.
Туманный и высокородный
не задается разговор.

Все решено, и нет возврата
на день — не то что на года.
Давно оплачена растрата,
давно окончена страда.

Но жизнь оставила им что-то:
осадка темного глоток,
мотив избитый на три счета,
увязший в прошлом коготок.

Не много. Хватит иль не хватит,
когда судьба сойдет на нет,
когда их заживо окатит
заката поминальный свет?

НОРД-ВЕСТ

Чего же ты хочешь, товарищ, норд-вест?

А. Ахматова

Глядя из Пириты на затихающий рейд,
 думаешь: "Боже мой, что за навязчивый бред?
 С этого камня следить за родной стороной,
 вечной, беспечной, еще молодой стариной?"
 Линзы подстрою и снова увижу я, как
 пестрый и свежий норд-вестом полощется флаг,
 шестидесятые там на причале стоят,
 вести и музыка головы смутно томят.
 Молодость — дикий подросток в румянном бреду,
 здесь на причале на досках тебя я найду,
 в робе брезентовой, в клешах зауженных грядь,
 и стопроцентную дурью налей меня всклянй.
 С кем ты сражаешься в серой ночной темноте?
 Как отражаешься в быстрой огнистой воде?
 Яхты, и танкеры, и городские огни,
 в сумрачном парке мы вечно, беспечно одни.
 Вечно, томительно музыка бьется в виски,
 медленно, длительно ост намедает пески,
 глянь с этой пристани — время уходит на дно,
 и серебристые призраки с ним заодно...
 Что ты здесь ждешь? Этот пропуск пропал навсегда,
 больше до смерти уже не вернуться сюда.
 Только над Олевисте свет пробивает туман,
 вечная молодость падает прямо в карман.
 Вечная девочка чиркает спичкой впотьмах,
 бледный огонь зажигается в старых домах.
 Маятник ходит за тридевять лет по дуге,
 шрам и пушок проступают на нежной щеке.
 Сладкие десны елозят по грубым губам,

слезы несносны, пора попрощаться и нам.
Девичьи руки, где винные пятна горчат,
вверх переводят и вниз опускают рычаг.
Вот и моторка выходит на пасмурный рейд...
Девка, чертовка, открой на прощанье секрет.
Что ты ни скажешь, я все же дойду до конца,
я проиграю, но не отверну я лица.
Вижу, последний над рейдом прожектор скользит,
кто безответный ответит за весь реквизит?
Выше и выше все глуше и дальше назад...
Крыши темнеют, а души горят и горят.

НА ОРДЫНКЕ

Вот здесь мне предлагали комнату,
но я свою не обменял,
как бы предчувствию какому-то
подобострастно я внимал.

Была квартира коммунальная
других и чище и милей,
и даже что-то карнавальное
внезапно проступало в ней.

Какие-то цветные стеклышки,
остатки фрески в гальюне,
о некой миновавшей роскоши
напоминало это мне.

И только две соседки тихие,
две незлобивые старухи,
выслушивая речи дикие,
хихикали, как две подруги.

Я говорил: "Жена прекрасная,
я сам виновен перед нею,
такая голь я перекатная,
что я надеяться не смею".

Я говорил, что жизнь не можется,
разлад убийственный, семейный.
Они твердили: "Все уложится,
переезжайте к нам, Евгений!"

"Переезжайте!" Не послушался.
И жизнь погибла и воскресла.
Как вал девятый, что обрушился,
и как волна, что вверх полезла.

МОНАСТЫРЬ

...Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!

Н. Языков

За станцией "Сокольники", где магазин мясной
И кладбище раскольников, был монастырь мужской.
Руина и твердыня, развалина, гнилье —
В двадцатые пустили строенье под жилье.
Такую коммуналку теперь уж не сыскать.
Зачем я переехал, не стану объяснять.

.
Шел коридор верстою, и сорок человек,
Как улицей Тверскою, ходили целый день.
Там жили инвалиды, ночные сторожа,
И было от пол-литра так близко до ножа.
И все-таки при этом, когда она могла,
С участием и приветом там наша жизнь текла.
Там зазывали в гости, делилися рублем,
Там были сплетни, козни, как в обществе любом.
Но было состраданье, не холили обид...
Направо жил Адамов, хитрющий инвалид.
Стучал он рано утром мне в стенку костылем,
Входил, обрубком шарил под письменным столом,
Где я держал посуду кефира и вина, —
Бутылку на анализ просил он у меня.
И я давал бутылки и мелочь иногда,
И уходил Адамов. А рядом занята
Рассортировкой семги, надкушенных котлет,
Закусок и ватрушек в неполных двадцать лет

Официантка Зоя, мать темных близнецов,
За нею жил расстрига Георгий Одинцов.
Служил он в гардеробе издательства Гослит
И был в литературе изрядно знаменит.
Он Шолохова видел, он Пастернака знал,
Он с Нобелевских премий на водку получал,
Он Юрию Олеше галоши подавал,
Но я-то знал: он тайно крестил и отпевал.
Но дело не в соседях, типаж тут ни при чем, —
Кто эту жизнь отведал, тот знает, что — почем.
Почем бутылка водки и чистенький гальюн.
А то, что люди волки, сказал латинский лгун.
Они не волки. Что же? Я не пойму, Бог весть.
Но я бы мог такие свидетельства привести,
Что обломал бы зубы и лучший богослов.
И все-таки спасибо за все, за хлеб и кров
Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
Кто учит нас терпенью и душу каменит,
Кто учит просто пенью и пенью аонид,
Тому, кто посылает нам дом или развал
И дальше посылает белоголовый вал.

У НОВОДЕВИЧЬЕГО

У Новодевичьего меж лебедей и уток
я на воде читаю — это промежуток.
Белок и киноварь, лазурь и позолота —
все опрокинуто в прекрасное болото,
где отражаются зубцы, собор и башни
и снова дышится так влажно, бесшабашно.
Глухонемой сажу у Окружной дороги,
пустовагонные грохочут демагоги,
бормочут, отрицают, прорицают,
кого-то обличают, отличают.
Не требуй ничего, и так все будет,
закат утопленный горячий лоб остудит.
Все, что упущено, по Окружной дороге
круг обойдет, к тебе воротится в итоге.
Гремят приветливо товарные вагоны,
как будто школьные товарищи долдоны.
Сиди и жди, не суетись нисколько,
и сохрани на полчаса, на пол-осколка
свое радушие, согласие на малость.
И жизнь поднимется, как прежде поднималась.

НАД ТАВРИДОЙ

Отдаленная музыка с веранды Ореанды
и огни теплохода...
После жизни и смерти вернуться обратно
соглашаюсь охотно.
На просторном, пустом, одиноком балконе
я стою над Тавридой...
Разве я навсегда в круговой обороне
вместе с девой-обидой?
Отцветает миндаль, лепестки засыпают
голубые перила,
и маяк в окоем красный глаз запускает
над ложбиной пролива.
Вот и ты подступаешь глухими шагами
никому не заметно.
И глаза заслоняешь сухими руками
ныне, а не посмертно.
Ты умнее меня, ты моложе, ты больше,
ты и дашь и отнимешь,
поцелуешь и плюнешь, и сам я такой же.
Если руки раскинешь
я увижу, как ты из-за Черного моря,
из-за двери балкона
наклоняешь кудряшки ржаного помола
к позолоте погона.
Разбросай свои шпильки по этому саду,
наведи свои очи...
Лишь бы музыка с нами попала в засаду
и плутала до ночи.

ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА

Около мечети, возле дома Витте
вы меня поймайте и остановите.
Снова помотайте вы седою прядью
рядом с "Великаном" в этом Петрограде.
Что нам чай да сахар, "Мартовское" пиво,
то несправедливо, это справедливо.
Ничего на свете нам не удастся,
только сигаретка нам и остается.
Черная "Аврора", розовая "Прима",
и подруга Люда, и подруга Римма.
В вашей подворотне холодно и жутко,
лампочка в прихожей вроде промежутка
между темной ночью и, конечно, белой...
Поцелуй мне веки в той заледенелой
комнате печальной, в суете опальной,
в той кровати старой полутораспальной.
И скорей, скорее на Крестовский остров,
медлят над яхт-клубом десять флагов пестрых —
все они победы, все они удачи
выцвели, поблекли накануне сдачи.
И слились с твоею прядью седоватой,
чем-то знаменитой, маловиноватой.

ЭПИТАФИЯ

Я знал его...
Лермонтов

Бессмертие — какая ерунда!
Нет выбора, вернее, нет ответа.
Все достоянье наше — череда
Бегущих лет, черед зимы и лета.

Я знал его. Мы странствовали с ним
Однажды по московским магазинам.
Нам абсолютно был необходим
Цвет голубой сорочек к темно-синим
В ту пору модным нашим пиджакам,
И, помнится, не отыскав предмета,
Не стали горевать по пустякам —
Нет выбора, вернее, нет ответа.

Я не успел с тобой поговорить,
Теперь уже поговорим толково.
Не станут нас сбивать и торопить,
Мы всякое обсудим трезво слово.

Как широка надземная Москва,
Встречая гостя из Москвы подземной,
Не надо ни родства, ни кумовства
Для получения жизни равноценной.

Да, что там говорить — небесный град!
Теперь она особенно любима —
Ну что же, до свиданья, друг и брат,
Я опоздал, и ты проехал мимо.

НОВОГОДЬЕ

На батумском рейде парусная яхта
борется с волной.
Я сюда заехал в новогодье как-то,
пил под выходной.
В окна морвокзала я глядел угрюмо,
дик и одинок —
где моя удача, где моя фортуна,
дом и огонек?
Что имел — развеял, что любил — профукал,
завернул в Батум,
будто в бильярдной от борта и в угол,
и в затылке шум.
Жены позабыли, дети осудили:
”Это не отец”,
только в Ленинграде в маленькой квартире
есть один ларец.
Там хранятся письма, и мои открытки,
и мои стихи.
Жизни не поправишь, я один в убытке,
небеса глухи.
Но подходит яхта к призрачному молу
и через туман
слышит, как на суше гонит радиолу
пьяный ресторан.
Доставай-ка фото из того конверта,
глянь на оборот.
В декабре в Батуме холода и ветра
мне невпроворот.

Ничего не знаю, никого не помню
и себя не жаль.

Только эту рюмку я еще наполню,
оболью хрусталь.

ЗА ПСКОВОМ

Бесконечная жизнь повилики,
Краснотала, репья, лопуха...
Мне достаточно и половинки,
Я не знаю такого греха
За собой, чтобы вновь не воскреснуть
После смерти блаженной весной,
Чтобы леса и луга окрестность
Обошла без меня, а за мной
Не послала хоть облака или
Разогретого ветра набег,
Ведь растили меня и любили
Не затем, чтоб я сгинул навек.
Вечеру пламенеет пространство,
На осине галчата галдят,
Где-то там на границе славянства
Угасает варяжский закат.
Засыпая на жаркой овчине,
Я внимаю, хоть слух огрубел,
голосам повелительным: "Сыне,
Ты вернулся, прими свой удел".

ЛЕНИНГРАДСКИМ ДРУЗЬЯМ

Стоя посреди Фонтанки
У державинских бесед,
Вижу гору провианта,
Дым табачный и кiset.

Наконец зима жестоко
Заменяла хлябь на твердь.
Темнота идет с востока,
Тяжело туда смотреть.

А на западе в тумане
Солнце — клюквенный мазок.
Видно, дело к ночи, пане,
Надо распрягать возок.

Хорошо скрипят полозья
Вдоль ледовой пелены,
Только стал он что-то возле
Самой черной полыньи.

Желт ампир, и воздух матов,
Пахнет ссорой шутовской.
Не окликнет ли Шихматов,
Не пройдет ли Шаховской?

Арзамасец из Коломны
Уж кого не задирает?
Прячет в шубу нос холодный
Сухопутный адмирал.

Кроме этого пейзажа,
Что любить нам горячо?
Отвечайте Ося, Саша,
Яша, Миша — что еще?

ПРО ВОРОНА

Там, где мусорные баки цвета хаки
На Волхонке во дворе стоят в сторонке,
Обитает юный ворон, он проворен.
Он над баками витает и хватает
Апельсиновую дольку, хлеба корку,
А потом попьет из лужи и не тужит.
Он мрачнее, но прочнее человека,
Он-то знает, что прожить ему два века.
И увидит он большие перемены,
Неприменно их увидит, неприменно.

АВАНГАРД

Это все накануне было,
почему-то в глазах рябило,
и Бурлюк с разрисованной рожей
Кавальери¹ казался пригожей.
Вот и первая мировая,
отпечатана меловая
символическая афиша,
бандероль пришла из Парижа.
В ней туманные фотоснимки,
на одном Пикассо в обнимку
с футуристом Кусковым Васей.
На других натюрморты с вазой.
И поехало и помчалось —
кубо, эго и снова кубо,
начиналось и не кончалось
от Архангельска и до юга,
от Одессы и до Тифлиса,
ну, а главное, в Петрограде —
все как будто бы заждались:
"Начинайте же, Бога ради!"
Из фанеры и из газеты
тут же клеивались макеты,
теоретики и поэты
пересчитывали приметы:

¹ Известная актриса и красавица 1910-х годов.

”Значит, наш этот век, что прибыл...
послезавтра, вчера, сегодня!”
А один говорил ”дурцилбыл”
в ожидании гнева Господня.

Из картонки и из клеенки
по две лесенки в три колонки
по фасадам и по перилам
Казимиром и Велимиром.
И когда они все сломали,
и везде не летал ”Летатлин”,
догадались сами едва ли
с гиком, хохотом и талантом,
в Лефе, в Камерном на премьере,
среди наркомов, речей, ухмылок
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.

ОТКРЫТКА

О. Чухонцеву

Вот Николаевский мост на открытке,
Изданной Русским Почтовым Союзом.
Время издания — первые годы,
Самые первые годы столетья.
Как объясняют специалисты —
В пятом году заменили конку
Электрическим бельгийским трамваем.
Перед самой войной переложили
Английской набережной парапеты.
Значит, уже тогда открытка
Была историческою картиной.
Что же пенять на новейшее время?
Посередине моста стояла
Часовня святителя Николая,
Покровителя флота.
Ныне — любой убедиться может —
Нету часовни.
Мост носит новое имя,
Имя Петра Петровича Шмидта,
Лейтенанта Черноморского флота.
Пусть же Николай и Петр,
Флотские люди в черных мундирах
С позументом и кантом,
При кортиках оба, оба святые
(Один ветеран христианства, епископ,
Что соответствует каперангу,
И лейтенант, который "Очаков"

В огне и в копоти обрушил на небо),
Соберутся в кают-компани за обедом
И решат повестку из двух вопросов.
Первый: как называть переправу
Площадь Труда – Васильевский остров
(В прошлом мост святителя Николая,
Ныне – мост лейтенанта Шмидта)?
И второй: что делать, если
Флот потоплен, отрезаны базы,
Адмирал скрылся на канонерке?
Объявить кампанию неудачей
Или сражаться до последнего патрона,
Как подобает морской пехоте?

КАРАНТИН

В том году шестидесятом вез меня нечистый поезд
 через глину и долину, через Волгу и Урал,
 пахло потом, самосадом, и наматывалась повесть.
 Я еще был молод, то есть, жить еще не начинал.
 Но уже сошел в Ташкенте, огляделся на перроне,
 и ко мне явился среднеазиатский мой собрат,
 он, пророк и археолог, так сказал мне: "Шуток кроме,
 новичкам везет, и, может, мы с тобой откроем клад".
 Побывал я в Самарканде.

Там, где Гур-Эмир сверкает
 голубыми изразцами, как холодное стекло.

Оказался в карантине. Так бывает, так бывает!
 Доложу вам: "Это время незаметно утекло".

В этих дореволюционных номерах, где коридоры
 переламявались трижды и четырежды подчас,
 где ни разу не давали нам обедов порционных,
 где валялись помидоры, проживал я, изловчась
 тратить два рубля — не больше — на еду, затем, что
 деньги

были мне нужны и дальше, в Фергане и в Бухаре,
 и случалось — и должно быть, это первое паденье —
 подбирал я сухофрукты на базаре в октябре.

Отмывал я их под краном, после баловался чаем,
 но не очень интересно чай вприглядку попивать.

И тогда я постучался, ибо в номерочке крайнем
 проживали две девицы — демонизм и благодать.

Та, что демон, просто Нина, та, что ангел — Ангелина

Чай кипел у них на плитке и сушилось бельецо,
две недели карантина, и душевная картина —
Ангелина или Нина прямо вам глядят в лицо.
О, брюнетка и блондинка, зоотехник и ботаник,
и одна из Ленинграда, а другая — Кострома.
Сигаретка, свитерочек, миловидная бандитка,
а другая-то, что надо, — так сказала мне сама.
Как я понимал обеих, — и прожженные солями
эти сильные ладошки пожимал и целовал,
изводил остатки денег на букеты и ночами
выпивал под радиолу и немного танцевал.
Нина или Ангелина? Ангелина или Нина?
Черно-белая забота, бледно-черная любовь!
Та головку наклонила, эта высшего полета —
Нина или Ангелина? Ангелина! Стынет кровь.
Я любил вас, я люблю вас, больше никогда не
видел,
пролетели две недели, и сложился чемодан.
Но моя тоска бессмертна. Я любил вас в самом деле,
я не знал, что сеть пространства прохудилась по
краям.
Вот и мы уплыли тоже! Ни в одном отеле мира,
ни в гостинице районной, ни в Монако в казино
я не встречу вас, не встречу. Этого не будет больше!
Что-то будет, жду я знака. Но пока мне все равно.

В ДИКИХ ЛЕСАХ ПИЦУНДЫ

И тогда разбойникам пришлось
спрятаться в диких лесах Пи-
цунды...

(Из записок Дюма-отца)

Под новогодний перезвон
Мне снится бледно-синий сон
Про дикие леса Пицунды.
Здесь побывал Дюма-отец,
Настиг злодеев, наконец,
Но мы с тобой не так преступны.

Пойдем, дружок, поговорим,
И нам безумный караим
Продаст вина на шесть копеек.
Ну, что там Лондон и Милан,
Где ты транжирила карман
Среди всесветных неумеек?

Послушай, лучшая вдова,
Все справедливые слова
Про полновесную Венеру.
Тебя и силой не свалить,
Но хочется тебя любить
И перенять твою манеру.

Бушует черноморский вал,
Лютует мировой аврал
От Жмеринки до старых Бруксов,
Но ты крепка, стальная плоть,
Прикрой меня сегодня хоть,
Покуда масло тлеет в брусках.

Прожектор на твоём лице,
И все находится в конце...
Укроемся в лесах Пицунды!
Затеём плутовской роман,
Запрячем в чащу шарабан
И будем, в общем, неподсудны.

Как пахнут амбра и "Шанель",
Когда выходишь на панель,
Авантюристка и беглянка,
Целую локоть твой крутой,
Дышу твоею красотой
И смазкою родного танка.

О, не сердись! Я прикипел,
Но знаю наш водораздел
И то, что я тебе не нужен.
И, впрочем, слышишь этот звон?
Звонят в Литфонде, кончен сон,
Пойдем-ка на убогий ужин.

* * *

В провинциальном городе чужом,
Когда сидишь и куришь над рекою,
Прислушайся и погляди кругом —
Твоя печаль окупится с лихвою.

Доносятся гудки и голоса,
Собачий лай, напевы танцплощадки.
Не умирай. Доступны небеса
Без этого. И голова в порядке.

* * *

Посреди медуницы и мака
и в краю голубого вьюнка
наконец-то дождался я знака,
принесенного издалека.

Пролетел, накренься, надо мною
норд-норд-вест, планерист и посол,
рассказал мне, что стало с тобою,
и потом на посадку пошел.

Кто-то вышел из темной кабины
и сорвал шлемофон на ходу, —
значит, нынче твои именины,
и опять мы, как прежде, в ладу.

Я спустился в забытый розарий
с холодевших альпийских полей
и цветов, заскорузлый, лежалый,
вдел в петлицу кожанки своей.

Ты им будешь — но через четыре
или три воплощенья на свет;
но пока, при тебе, в этом мире
ни пощады, ни выбора нет.

И небес обгорелая синька,
безнадежный космический зной —
черный взор твоего фотоснимка,
проступающий в бездне ночной!

Не гляди! Мне и так одиноко,
мне бесслезные веки свело,
разрешите мне вернуться с востока
под твое ледяное крыло.

* * *

А.А. Ахматовой

У зимней тьмы печали полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет —
Метеорит, ракета, астероид.

Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний,
Уже живой, еще полубольной.

Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

А.А. Ахматовой

В Павловском парке снова лежит зима,
и опускается занавес синемá.
Кончен сеанс, и пора по домам, домам,
кто-то оплывший снежок разломил пополам.
Снова из Царского поезд застрял в снегах,
падает ласково нежный вечерний прах,
и в карамельном огне снова скользит каток,
снова торгует водой ледяной лоток.
Сколько не видел я этого?
Двадцать, пятнадцать лет,
думал — ушло, прошло,
но отыскался след.
Вот на платформе под грохот товарняка
жду электричку последнюю — будет наверняка.
Вон у ограды с первой стою женой,
все остальные рядом стоят со мной.
Ты, мой губастый, славянскую хмуришь бровь,
смотришь с опаской на будущую любовь —
как хороша она в вязаном шлеме своем, —
будет вам время, останетесь вы вдвоем.
Ты, моя пигалица, щебечущая кое-как,
вечный в словах пустяк, а в голове сквозняк.
Что ты там видишь за павловской пеленой —
будни и праздники, понедельничный выходной?
Ты, настоженный, рыжий, узлом завязавший
шарф, —
что бы там ни было — ты справедлив и прав!

Смотрит в затылок твой пристально Аполлон,
ты уже вытянул свой золотой талон.
Ты, мой брүнетик, растерзанный ангелок,
что же? Приветик. Но истинный путь далек.
Через столицы к окраинному шоссе.
Надо проститься. А ну, подходите все!
Глянем на Павла, что палкой грозит, курнос.
Что-то пропало, но что-нибуль и нашлось!
Слезы, угрозы, разграбленные сердца,
прозы помарки и зимних цветов пыльца.
Чашечка кофе и международный билет —
мы не увидимся, о, не надейтесь, нет!
Ты, моя бедная, в новом пальто чудном —
что же мне делать? Упасть на снега ничком?
В этом сугробе завывать, закричать, запеть?
Не остановитесь. Все уже будет впредь.
Падают хлопья на твой смоляной завиток —
я-то все вижу, хоть я негодяй, игрок.
Кости смешаю, сожму ледяной стакан,
брошу, узнаю, что я проиграл, болван,
взор твой полночный и родинку на плече —
я не нарочно, а так, второпях, вообще.
В Павловском парке толпится девятка муз,
слезы глотает твой первый, неверный муж.
В Павловском парке вечно лежит зима,
падает занавес, кончено синема.
Вот я вбегаю в последний пустой вагон,
лишь милицейский поблескивает погон.
Сядь со мной рядом, бери, закури, дружок, —
над Ленинградом кто-то пожар зажег, —
тусклого пламени — время сжигает все,
только на знамени Бог сохраняет все.

ТЕМНОТА ЗЕРКАЛ

* * *

Ночной истребитель, во мраке
Пронзающий правду и ложь,
Как будто бы пачку бумаги
Проходит охотничий нож.

Раскинув косыми крылами,
Уставший от тайных трудов,
Ты падаешь в грязное пламя
Бесчинствующих городов.

Убийство твое поправимо,
Хотя и окончен полет.
Ты — женщина наполовину,
И это спасенье твое.

Лежишь на случайной постели,
Зеленым зрачком поводя,
Ты кто же теперь в самом деле,
Машина? Русалка, дитя?

Я стал бы твоим ординарцем,
Когда бы не знал наперед,
Что в небе твоим кардинальском
Погибну, как первый пилот.

Тебя обуздать невозможно,
Любить тебя надо, пока
Не сгинешь ты тварью безбожной
В ночные свои облака.

* * *

Темный дождик в переулке,
Негде высушить носки —
Вот про это пели урки,
Умирая от тоски.

Вот про это, вот про это,
Вовсе ни о чем другом.
Никого нельзя проведать,
И никто не пустит в дом.

Черный кофе, черный кофе,
Красно-белое вино,
Дорогие, что вы, что вы,
Разве вам не все равно?

Если я войду незванный,
Отсыревший до нутра
И устроюсь возле ванной
До шести часов утра?

Что же делать? Что же делать?
Кто-то запер адреса.
Он же щедро сыплет мелочь
Чаевую в небеса.

Или, может быть, оттуда
Водопадом пятаков
Опускается простуда —
Заработок простаков.

СОСЕД ГРИГОРЬЕВ

Нас двое в пустынной квартире,
Затерянной в третьем дворе.
Пока я бряцаю на лире,
Он роется в календаре,
Где все еще свежие краски
И чьи-то пометки видны,
Но это касается русско-
Японской забытой войны.
Ему уже за девяносто.
Куда его жизнь занесла! —
Придворного орденоносца
И крестик его "Станислав".
Придворным он был ювелиром,
Низложен он был в Октябре.
Нас двое, и наша квартира
Затеряна в третьем дворе.
А он еще помнит заказы
К светлейшему дню именин,
Он помнит большие алмазы
И руки великих княгинь.
Он тайные помнит подарки,
Эмаль и лазурь на гербах,
И странные помнит помарки
На девятизначных счетах.
Когда он, глухой, неопрятный,
Идет, спотыкаясь, в сортир,
Из гроба встает император,
А с ним и его ювелир.

И тяжело ему. Но полегче
Вздыхает забытый сосед,
Когда нам приносят повестки
На выборы в Суд и Совет.

Я славлю Тебя, Государство!
Твой счет без утрат и прикрас,
Твое золотое упрямство,
С которым ты помнишь о нас.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

Прекрасна родина. Чудесно жить в ладу
С ее просторами, садами, городами,
Вытягиваться утром в высоту
И понимать на ветреном мосту
Волны пронырливое рокотанье.

Вернуться за полночь домой. До мозжечка
Втянуть дымок и повернуть свой ключик,
Но поздней осенью не выплесть из венка
Ни роз, ни листьев, ни колючек.

Прекрасна родина. Сады ее пусты.
Нет поздней осенью от холода защиты.
И все-таки завьюженной плиты
Не променяй на выжженные плиты.

Согрейся как-нибудь. Укройся с головой,
Прости хоть до утра несносные обиды.
Не спится? Ничего. Лежи, глаза закрой,
Припомни всех — столь многие забыты.

Ты видел их, ты знал. Ты с ними заодно
На собственный манер страну свою устроил.
Так забько в комнате, так жутко. Но зато
Рассветный этот час тебе полжизни стоил.

Пора на холодок. Пододеяльник жестк,
А новый день похож на старое лекало.
И зеркало послушнее, чем воск,
Оттиснет твой портрет и подмигнет лукаво.

599/600

На шестисотом километре колодец есть у полотна,
 Там глубока до полусмерти вода и слишком холодна.
 Но нет другой воды поблизости, и, поворачивая ворот,
 Я каплю потную облизываю, пока не капнула за ворот.
 И достаю я пачку "Джебела", сажусь на мокрую скамейку,
 Вытягиваю вместо жребия надкушенную сигаретку.
 Мои зрачки бегут вдоль линии.

Сначала в сторону Варшавы,

Где облаками соболиными закрыты дальние составы.
 Но сладко мне в другую сторону спешить,

к родному Ленинграду,

И подгонять нерасторопную в пути путейскую бригаду.
 О паровозы с машинистами, позавчерашняя потеха,
 Как сборники с имажинистами, вы — техника былого века.
 И я не понимаю спутников, транзисторов и радиации,
 А понимаю я распутников, что трижды переодеваются,
 И, не спеша, сидят за столиком,

и медленно следят за женщиной,

Позируя перед фотографом из этой вечности засвеченной.
 На свете что непостояннее, чем жизнь?

Отстав от века скорого,

Не наверстать мне расстояния,

как пассажирскому до скорого.

Я докурил, и боль курения дошла до клапана

уставшего.

Пришла пора испытать забвения

из этого колодца страшного.

МУЗЫКА ЖИЗНИ

Музыка жизни — море мазута,
ялтинский пляж под навалом прибоя.
Музыка жизни — чужая каюта...
Дай же мне честное слово, прямое,

что не оставишь меня на причале,
вложишь мне в губы последнее слово.
Пусть радиола поет за плечами,
ты на любые заносы готова.

Флейты и трубы над черным рассудком
Черного моря и смертного часа —
этим последним безрадостным суткам,
видно, настала минута начаться.

Белый прожектор, гуляет по лицам
всех, кто умрет и утонет сегодня,
музыка жизни, понятная птицам,
ты в черноморскую полночь свободна.

Бьются бокалы, и падают трапы,
из "Ореанды" доносится танго,
музыка жизни, возьми меня в лапы,
дай кислородный баллон акваланга.

Что нам "Титаник" и что нам "Нахимов"?
Мы доберемся с тобою до берега,
этот спасательный пояс накинув,
и по пути подберем человека.

В зубы вольем ему чистого спирта,
выльем на душу "Прощанье славянки",
музыка жизни — победа, обида,
дай мне забвенья на траурной пьянке.

Слышу, что катит мне бочку Бетховен,
Скрябин по клавишам бьет у окраин,
вышли спасательный плот мне из бревен,
старых органов, разбитых о камень.

Тонут и тонут твои пароходы,
падают мачты при полном оркестре,
через соленую смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.

НОВОГОДНЯЯ ОТТЕПЕЛЬ В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ, БЫВШИЕ ТЕРИОКИ

Так важно чавкала трава
под новогодней теплой жижкой,
что не замерзла голова
под несезонной кепкой рыжей.
И только бешеный мальш,
скользя на узких санках финских,
прошел по следу старых лыж,
ближайший путь до моря вызнав.
И я пошел туда за ним
среди старых зданий териокских,
и смутный пар, что банный дым,
стоял столбами на торссах.
Здесь был когда-то интернат
в послевоенную годину,
в нем жил я много лет подряд
и в памяти не отодвину
бетонный дзот, где стенгазет
руководил я рисованьем,
над Балтикой предчувствий свет,
что стал моим образованьем.
Под вечер отступал залив,
показывалось дно, мелея,
я становился не болтлив,
тихонько маясь и немея.
В кровосмесительном огне
полусферических закатов
вторая жизнь являлась мне,

ладоши в желтый дым закапав.
И вот я закруглил ее..
и снова подошел к заливу.
Я понял за свое житье:
"Все ничего, а быть бы живу".
Стоять в предновогодний час
среди тепла зимы нестойкой,
на дно упрятав про запас
всего один мотивчик бойкий —
жить, жить! В морозе и в тепле,
любой норе, в любых хоромах,
на небе, в море, на земле,
в тиши и маршах похоронных.

НЕЖНОСМО...

Александру Штейнбергу

”Утомленное солнце нежносмо...

нежносмо...

нежносмо...

...Нежно с морем прощалось...”

Режь на сто антрекотов

Мою плоть —

никогда

Не забыть, как пластинка

Заплеталась, вращалась...

Нету тех оборотов —

Ничего. Не беда.

Мы ушли так далеко,

мы ушли так далеко

От холодного моря,

от девятого ”А”.

Но прислушайся — снова

Нас везут в Териоки,

И от этой тревоги

вкруг идет голова.

Без тоски, без печали

на куски размечали

Нашу жизнь и границы

Выставляли столбы.

То, что было вначале

без тоски, без печали...

Ничего, доберемся,

Это без похвальбы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ну, чего тебе еще от меня надо?
 Почему до сих пор долетает прохлада
 этих улиц сырых, прокисших каналов,
 подворотен, пакгаузов, арсеналов?
 Вот пойду я опять, как ходил ежедневно,
 поглядеть, погулять за спиной Крузенштерна...

...и вернусь через мост и дойду до Мариинки,
 где горят фонари до утра по старинке.
 За Никольский собор загляну я украдкой,
 там студент прикрепляет топор за подкладкой.
 Вот и Крюков канал, и дворы на Фонтанке,
 где когда-то гонял я консервные банки,
 что мячи заменили нам в году сорок пятом...
 Как меня заманили к этим водам проклятым?
 Что мне в этом пейзаже у державинской двери?
 Здесь при Осе и Саше в петроградском размере,
 под унылый трехсложник некрасовской музыки
 мы держали треножник и не знали обузы.
 Мы прощались "до завтра", хорохорясь, цыганя, —
 а простились от Автова до Мичигана.
 Виден или не виден с чужедаальной платформы
 сей ампир грязно-желтый, европеец притворный,
 этот Дельвиг молочный, и Жуковский румяный,
 и кудрявый бессрочный этот росчерк буланый,
 вороной и гнедой, как табун на бумаге,
 и над гневной Невой адмиральские флаги?

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

Под черным лабрадором лежат мой дед и бабка,
среди охтенских суглинков, у будки сторожей.
Цветник их отбортован и утрамбован гладко,
поскольку я здесь не был сто лет — и он ничей.
В свой срок переселились с безумной Украины
они, прельстившись нэпом, кроить и торговать,
под петроградским небом купили половину
двухкомнатной квартиры и стали проживать.
Гремит машинка "зингер", Зиновьев пишет письма,
мой дед торгует платьем в Апраксином ряду
и, словно по старинке, пирожные в корзинке
приносит по субботам, с налогами в ладу.
А жизнь идет торопко — от бани до газеты,
от корюшки веснней до елочных шаров.
Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка,
футболка да винтовка — и пионер готов.
И все это отрада — встают, поют заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
а ну, еще полгода, ну, крайний срок — два года —
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре
сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу "СССР".
А дед и бабка рады — начальство шьет наряды,

приносит сыр и шпроты, ликер "Абрикотин",
границы на запоре, и начеку отряды,
и есть кинотеатры для звуковых картин.
А дальше все как надо — обида и блокада,
и деда перевозят по Ладогe зимой,
и даже Немезида ни в чем не виновата,
она лишь секретарша. О боже, боже мой!
Теперь в глубоком царстве они живут, как могут,
Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед.
И кто кого под нготь, и кто кого за локоть —
об этом знает только подземный ленсовет.
А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
за все ответят тени, забвеньe шевелия.

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Тыходишь к большой реке,
Возле чудищ Египта стоишь.
В мастерской на твоём чердаке
Хлам забвения, тьма и тишь.

Отворяешь дверь на балкон —
В этот час сверкает залив,
И заката Лаокоон
Стянут тучами вкось и вкривь.

Погляди на старый портрет,
Нарисованный так давно.
Тот, кто был здесь, сошел на нет,
Словно вышел за полотно.

Из футболок, спартакиад
Он давно пересажен в "ЗИС",
Но еще он бывает рад
Выбить в парке почетный приз.

И уже восточный экспресс
Тащит в девять столиц его,
И подстегивает интерес
Все устроить из ничего.

Он еще попадет в Мадрид
И пробьет Еслорморканал,
Захочет еще навзрыд —
Он и в Мексике побывал.

В шевиотовое нутро
Он сует именной "ГТ",
Шоколадное серебро
Ночью падает в декольте.

Что же будет в конце концов?
Как всегда: ничего и все,
А пока с ним нарком Ежов
Пьет в Алушке "Абрау-Дюрсо".

И пройдет миллион эпох,
Чернозем войдет в мезозой.
И вы видим: портрет не плох,
Светит искренней бирюзой.

Сквозь испорченные часы
Виден сурик и изумруд.
Жизнь и живопись так чисты —
Плоть покинут и не умрут.

* * *

Т.З.

Деревянный дом у вокзала
Безобразной окраины Ганзы,
Где внезапно зауважала,
Приютила свои сарказмы
Просвещенная часть России...
Деревянный, где маневровый
Паровозик гудит разине,
Торопясь с трамваями вровень.
Пахнет кофе, копченой рыбой,
Гальяунами и просто пивом,
А в кофейнях пахнет "Элитой",
В Кадриорге пахнет отливом,
Белой ночью болеют окна,
Истекая розовым гноем,
И флюгарка взывает тонко
К милым братьям за мелким морем...
Чепуха... Ни сестры, ни брата,
Только ты за стеной фанерной,
Двадцать лет приезжаю кряду
И приеду еще, наверно.
Разливай по стаканам водку,
Говори о дурацких сплетнях,
Но не жди никакого проку
От пятнадцати лет последних —
Мы давно перешли границу,
Нам давно обменяли паспорт,
Мы загнули свою страницу

И забыли, что было, насмерть.
И лишь утречком в воскресенье,
Когда сливки бегут в кофейник
И когда голова леченье
Принимает от легких денег,
Век связует свои суставы
И натягивает сапожки,
И мяукает Окуджава
Голоском беспризорной кошки.

У ЗАСТАВЫ

Размешен снег и прах,
распутица несносна,
и на семи холмах
Москва великопостна.
Промокли сапоги
на площадях Восстаний.
Поди-ка беги
все семь высотных зданий.
Поди-ка получи
сто семь рублей и мелочь...
Холодные ключи
в какую щель нацелишь?
О, как разбухла дверь
разрушенной квартиры,
и падает капель
за воротник задиры.
Перекрести, Москва,
меня на эту Пасху.
Уймись, моя тоска,
и повтори подсказку:
залечь до сентября
вблизи Преображенской,
где смутная заря
чадит в тиши блаженной.
И дальний перестук,
что возле трех вокзалов, —
последний близкий друг
всех павших и усталых.

* * *

Александру Межирову

Грай вороний над бульваром.
Льжки пахнут скипидаром,
И упрямый лыжник сам
Ходит на ногах негибких
Около ворот Никитских
Ровно в полночь, по часам.

Вот зима посередине,
Жизнь сама посередине —
Ни начала

ни конца.

В теплокровной сердцевине
Нет печали и в помине —
Толчея, как в магазине
За углом без продавца.

Кто-то движется под снегом,
Поцелует,

обоймет,

Пощекочет мокрым мехом,
Пошурует по прорехам —
Может, этот и поймет!
Полчаса до темноты,
Вот теперь давай на "ты".

А вокруг лежит огромной
Рыхлой грядкой огородной
Протянувшийся квартал.
Я и сам такую ночью
Вижу, вижу все воочью —
Что хотел и чем не стал.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ

Посреди Великой Садовой,
В самом сердце чужой Москвы,
Ни к чему еще не готовой,
Не поправившей головы,
Я стою.

Облетает осень
Свежим золотом сентября,
Как ненужный агент заброшен
И засвечен почти зазря.
Для чего генерал трехзвездный
Мне о Родине лепетал?
Для чего истребитель поздний
Над зенитками пролетал?
Для чего я ампулы с ядом
Вшил в отглаженный воротник?
Для чего я жил с вами рядом?
Постарел, поглупел, обвык...
Там, на родине, в тайных списках,
В петроградском родном дыму...
Никогда не увижу близких,
Мать-Отчизну не обниму.
Я узнал о Москве такое,
Что не надо царя Петра,
И она погорит, что Троя,
И останется лишь дыра.
Но забыты мои шифровки,
По ночам передатчик ждет,

И бедняга связной в столовке
Диетический суп жует.
И в свой час упаду, ощерясь,
На московский чумной погост —
Только призрак прорвется через
Разведенный Дворцовый мост.

ДЖИМ

Старый бродяга в Аддис-Абебе...

Николай Гумилев

Старый бродяга из Коктебеля,
одиннадцать лет собачьего стажа,
почти чистокровная немецкая овчарка,
ты разлегся у меня под ногами,
безразличен к телевизору,
к суматохе на веранде.

В страшном ящике — полуфинал футбола,
за столом — последние сплетни, —
даже к ним ты равнодушен.

А ведь ты известен в самых дальних странах:
в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале,
в Сан-Франциско, Мюнхене и Париже
тебя вспоминают.

Потому что многие прошли через веранду.

Ты гремел навстречу им цепью,
лаял охотно или так, для отчета,
тогда освобождали твой ошейник.

Грудь свою раздувая достойно,
появлялся ты на веранде.

”Джим! — кричали тебе. — Джимушка, Джимчик!”

Это было приятно.

Но достоинство — вот что основное.

Гости приходят и уходят,
но немецкая овчарка остается...

Год за годом приходили гости,
год за годом говорили гости,
пили пиво, чай, молоко и водку,

повторяли смешные словечки:

"мандриан", "шагал", "евтушенко",
"он уехал", "она уехала", "они уезжают",
"кабаков", "сапгир", "савицкий", "бродский",
"джексон поллак", "веве набоков", "лимонов"
и опять — "уехали", "уезжают", "уедут"...

Вот и стало на веранде не так тесно,
но всегда приходит коровница Клава
и приносит молоко в ведерке,
и шумит, гремит проклятый ящик.
Дремлешь, Джим? Твое, собака, право.

Вот и я под телевизор засыпаю,
видно, наши сны куда милее
всей этой возни и суматохи.

Не дошли еще мы до кончины века,
уважаемая моя собака.

Почему же нас обратно тянет
в нашу молодость, где мы гремели цепью?

* * *

”Самой природы вечный меньшевик”¹,
давным-давно я от себя отвык:
ни шутки, ни попойки — Йегова
лишил меня на партсобрание слова,
еще немного — и лишит мандата...
Ну что ж такого, жизнь не виновата.
Знай плещет у метро, стоит ретиво
в затылок, возле кооператива.
Зачем? Сама не знает. Что-то будет...
Пусть не признает, плюнет, обессудит
и пригвоздит, поставит в списке птичку,
но только даст мне верную отмычку:
о чем она рыдает и хлопочет —
никто не хочет жить и умереть не хочет.

¹ Строка из стихотворения О. Мандельштама ”Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...”.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАГОН

Вагоны "Рим — Москва", "Москва —
Константинополь"
у этих вот платформ шлифуют сталь о сталь,
на запад и восток глядит проезжий Нобель,
глотаю свой бифштекс, склоняя свой хрусталь.

Он глянул на меня у поздней электрички
и раскурил свою сигару "Боливар",
а я отвел глаза по лени и привычке,
но в унижение я недолго горевал.

Когда вернется он, то что застанет дома —
народный трибунал иль тройку ВЧК?
Поэтому всегда легка его истома,
поэтому всегда тверда моя рука.

В ДОРОГУ

Из комнаты, где ангел твой крыла
в анфас и в профиль прокрутил, что флюгер,
ты уезжаешь, и твои дела
мерцают и крошатся, точно уголь.
Ты разливаешь мутноватый чай,
приправленный кагором с карамелью.
Мы столько лет не виделись — прощай,
неизлечимо старое похмелье
полуреальных снов и неудач —
единственной возможности пригожей.
Какое ты свиданье ни назначь —
мы разошлись, как два истца в прихожей.
В квартире коммунальной тишина,
где черный ход — сквозняк из кухни барской.
А жизнь уже размотана, она
набаловалась речью тарабарской
азиатских миллиардов, заводных
вертушек в мировом круговороте.
Куда ты вздумал убежать от них,
в каком уразуметь их переводе?
Давно сравнялись тропики и лед,
ведро времен позванивает донцем.
Как хорошо попасть под пулемет
Атиллы, отступая с Македонцем!
Пора, нас засыпает тишина,
выравнивая оком гиганта.
Что эти переезды? Только на
один прогон и никогда обратно.

ХИНКАЛЬНАЯ "ИНКИТ"

А. Битову

Здесь прятал Цезарь, говорят,
Забавных пестреньких утят
На озере Инкит в Колхиде.
А ныне здесь рыбсовхоз,
И объясняет мне завхоз,
Что он на Цезаря в обиде.

Утята улетели в Рим,
А мы сидим и говорим
В "Инкит" хинкальной на веранде:
"Где Цезарь? Нет его примет".
У нас отдельный кабинет,
Но я не верю пропаганде.

Сохранны Цезарь и Инкит,
Лишь обретают новый вид,
Пока проходят через вечность.
Утята мелкие пестры,
На склоне матовой горы
Все та же голубая млечность.

И ты, товарищ, побратим —
Вот мы сидим и говорим,
И дребезжит посуда тонко.
А Цезарь варваров разбил,
И африканского распил,
И гладит пестрого утенка.

И через двести тысяч лет
Здесь будет медный парапет
И дискобар для сатурналий,
И мы придем с тобой опять
Чего-то быстро пожевать
И встретить деву из Италий.

Она воскликнет: "Ах, пардон!
Евгений и Андрей, притон
Ужасно скучен в это время,
А в Риме бал и маскарад,
Там будет Цезарь, говорят..." —
Все ясно, словно в теореме.

Но Цезарь не придет на бал,
Он много пил и плохо спал,
И Цезарю не до забавы,
И только уточка в углу
Ему милей сквозь зло и мглу
Всей власти, правды и отравы.

**УТРЕННЯЯ РЕЧЬ
ПО ДОРОГЕ В ДИГОМИ**

Т.Б.

На улице Гамбашидзе,
Где комиссионный хлам
И где, могу побожиться,
Густая пыль по углам,
Зато посреди столовой
Сияет хрустальный стол,
Сидишь ты, белоголовый,
Склоняя чужой глагол.

Шампанским и Телиани
Наполнено баккара,
И хватит играть делами —
Теперь отдохнуть пора.
Подходит к тебе собака
По имени Цы-бай-ши,
Как ты одинок, однако,
В своей дорогой глуши.

Наместник и император
Стоят за твоим плечом,
Кудесник и информатор
Тебе уже нипочем.
Ты понял размеры клеток,
Единых во все века,
И в театре марионеток
Ты дергаешь нить слегка.

И ты поднимаешь дивный,
Почти голубой стакан,
И падает отблеск винный
На белый чужой диван.
И ты говоришь хозяйке
Почтительные слова,
И лучшая речь всезнайки
Медова, что пахлава.

И все-таки вижу, вижу
Тебя в отдаленный год:
Пустую кровать и нишу,
Где скомканный коверкот,
И лязганье битых стекол,
И мелкий бумажный сор.
И смотрит довольный сокол
В горячий родной простор.

Грохочет в ночном Тбилиси
Загруженный грузовик,
И желтый зрачок у рыси
К победам уже привык.
В пустом знаменитом доме
Гремит безучастный залп —
Ты знаешь и это кроме
Испаний, Венеций, Альп.

В четыре утра выходим
С тобою к смешной Куре,
Пустое такси находим
в разнеженном ноябре.
И мчимся, дымя цигаркой,
В Дигоми, где новый стол,
И снова в квартире жаркой
Заморский звучит глагол.

Так здравствуй еще четыре
Последние тыщи лет,
Поскольку в подлунном мире
Другого такого нет.

Хромай через все науки,
Иди через все слова,
И нету на свете скуки
Печальнее торжества.

Вельможа и декламатор,
Начальник и тамада,
Твой преданный авиатор
Подбросил тебя туда.
Тебе букинисты Сены
Готовят интимный том,
И нету такой измены,
Чтоб вышла к тебе тайком.

И снова глядит вертушка
На скромный шотландский твид,
В приемной сидит старушка,
Которую выслал МИД.
Бери свой зеленый паспорт,
Валяй на большой простор,
Но помни — стреляет насмерть
Во тьме грузовой мотор.

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

В своей американской черной шляпе
 широкополой
 стояла ты на привагонном трапе,
 там, где подковой
 к Московскому вокзалу вышла площадь
 и Паоло¹
 когда-то взгромоздил на лошадь
 облома,
 а тот уехал.
 И что-то меня мучает и гложет,
 и слышу эхо
 приветствий, поцелуев, тепловозов,
 и вот потеха —
 я снова слышу твой железный отзыв
 на все вопросы,
 и никогда не вытащить, о Боже,
 твоей занозы,
 и никогда не пересилить этой
 стальной дороги,
 не отвести угрозы.
 И нынче, нынче, подводя итоги
 и глядя слезно
 в то утро, что светлеет на востоке
 и где морозно,
 где фонари на индевелом Невском
 стоят стеною,
 я думаю, что жизнь прожить мне не с кем,
 ведь ты со мною.

¹ П а о л о Т р у б е ц к о й — скульптор, автор знаменитого монумента императору Александру III.

* * *

Холодным летним днем
у Сретенских ворот
не отыскать с огнем,
Москва, твоих щедрот.
"Вечерку" отложив,
я вижу — кончен день!
Еще покуда жив, —
отбрасывает тень
травы позеленей,
красней крепленных вин.
В небесной целине
пестра, как арлекин,
ночная тень Москвы
включает семафор,
наркотики тоски
и жажды самовар.
Великих городов
тем и велик разброд,
что падаль от плодов
никто не отберет.
Закончены дела,
прочитаны листы,
и все, что ты дала, —
все отобрала ты.
Не забывай меня!
Когда-нибудь потом
пошли и мне огня
расплавленным пятном.

ЭЛЕКТРИЧКА 0.40

В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут,
Что прожил ты жизнь по привычке,
Кончается этот маршрут.

Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца спокойный, как ангел,
Тулуп расстелил наголо.

И видит он русское море,
Стакан золотого вина.
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.

ИЗ ЛЕРМОНТОВА

Памяти Аркадия Штейнберга

В начале сентября на волжской воле
так ветрено. Гудит осина в поле
и лесопилка в Белом Городке.
Воняет креозотом, формалином,
по радио: "По взгорьям и долинам..."
И мы спускаемся к реке.
Погрузим рюкзаки в устойчивую лодку,
уложим поплотней крупу, тушенку, водку.
Мотор забарахлит,
потом свое возьмет.
Плывите мимо нас, тверские деревеньки,
нам некуда спешить. Теперь уж помаленьку —
обратный ход.
Он кутается в новую штормовку,
и мне не проявить смекалку и сноровку —
я только пассажир.
Закурим, поглядим на мимолетный берег:
"Читай-ка "Валерик", как славно, что Валерик
нам денег одолжил!"
Он говорит, что "жизнь постиг,
судьбе, как турок иль татарин"¹,
равно за все он благодарен...
"Да что там, Женя, я — старик.
Но как бы вам сказать? Ведь старость
совсем не то, что мните вы..." —

¹ См. "Валерик" ("Я к вам пишу случайно, право...") М.Ю. Лермонтова.

”Да, все признанья таковы.
А как понять?” Теперь осталось
до дома ничего совсем.
Все это было между тем,
в те времена, когда он с нами
мог пошутить, погоревать.
Над среднерусскими лесами
начало осени. Опять
трава пожухла. Вон и трактор
чего-то бьется на меже,
доказывая свой характер.
А небо в лучшем неглиже —
такая облачная тонкость.
И вот последняя подробность:
обедали, он сел к столу
и мне сказал: ”А ту строфу
из Лермонтова я запомнил,
поверишь ли, в пятнадцать лет
и этот повторял завет
везде — в издательствах, на полустанках,
в окопах и госпиталях,
в удачах, а равно в отставках,
на пересылках, в лагерях.
И вот теперь все то же, то же
я говорю, дай повторю...
Теперь и свериться негоже
по старому календарю.
Ты думаешь, что старость это?..
А старость просто ближе к тем.
Пойдем дойдем до сельсовета
и попрощаемся затем”.
А через час внезапный холод,
сиверко, тьма и мокрота.
Ты думаешь, что жив, что молод,
что где-то люди, города,
и кровию артериальной
кипит колеблющийся вал...
О, если б на платформе дальней
опять я одиноко стал

и в ожидании отъезда
подумал: "Больше никогда..."
О, как свободно, страшно, тесно
небесная блестит слюда.
Ни слова больше. Снисхождением
и мертвых можно оттолкнуть.
"И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденьи?"

НАД ФОНТАНКОЙ

Над Фонтанкой развал и разруха,
Дом на Троицкой тоже снесен,
Вылезает мерзавец из люка —
Волосат, до пупа обнажен.
На груди его синею вязью —
Серп и молот, двуглавый орел,
Самогоном набухли подглазья,
На висках золотой ореол.
Душной ночью идет он к собору,
На облещую бронзу плюет
И навстречу родному простору
Ненавистную песню поет.
Капитальный ремонт и разруха,
Довоенная заваль и дичь,
ГПУ, агитпроп, голодуха
Залегли под разбитый кирпич.
И оттуда тяжелою пылью
На развалины сели мои —
Отлетающая эскадрилья
В боевой предрассветной крови.
Рассыпайся же, многоэтажный
Дом презрения, кражи и лжи,
Невский сумрак, сырой и бесстрашный,
Заползает в твои этажи.
Возвращайся, дитя и бродяга,
В подворотню, где баки гниют.

Все, что надо — судьба и отвага —
Этой ночью тебя признают.
Дом на Троицкой — темные флаги
На развалинах веют, клубясь,
И летят в подворотню бумаги,
Чернокнижьем твоим становясь.

ЗА КРУЗЕНШТЕРНОМ

В. Беломлинской

Все как было. За стрелкой все те же краны,
лесовоз "Волгобалт" за спиной Крузенштерна,
только время все круче берет нас в канны
и вот-вот завершит окружение, наверно.
На моем берегу отлетела лепнина,
а на том перекрашен дворец в изумрудный...
На глазах этот город еще коллективно
завершает свой пасмурный подвиг безумный.
Он толкает буксир по густому каналу
и диктует забытые ямбо-хореи,
он хотел, чтоб судьбина его доконала —
как угодно, — он шепчет: "Абы скорее!"
Для чего это все! Как чертил его зверский
императорский коготь на кожаной карте,
как вопил ему в ухо заросшее дерзкий
и ничтожный мятежник в смертельном азарте?
Для чего здесь Григорий загрыз Николая?
Отчего эта жилка до капельки бьется?
Поселение гуннов? Столица вторая?
Только первая! Ибо второй не живется.
Все уехали... Даже и я (что неважно),
никуда не прибежешь, ничего не изменишь.
Только в темном дворе окликаешь протяжно
и грозишь незнакомке, что до нитки разденешь.
А она-то согласна, но медлит чего-то...
Все пустое, как окна при вечном ремонте.

Будет срок — и повесят на Доску почета
или даже утопят в зачуханном понте.
Но когда я иду на Васильевский остров
и гляжу, как задымлено невское небо,
я все тот же, все тот же огромный подросток
с перепутанной манией дела и гнева.
Объявляю себя военнопленным,
припаду к сапогам своего конвоя,
чтобы вечером обыкновеннолетним
одному за всех поминать былое.

ЗАВТРАК НА БАЛКОНЕ

Поздно утром на торцевом балконе
Голубого курятника в приморском парке —
Яйца всмятку, редиска и во флаконе
Зарубежном — напиток домашней варки.
Плюс геополитика в свежей "Правде",
Плюс письмо из имперской былой столицы —
Это слишком, и я понимаю, вряд ли
Я сумею свое взять и поделиться
С этим мальчиком в перелицованных брюках,
Что обменивал хлебный талон на марки,
Со студентом, канал обходившим Крюков
И шептавшим Брюсова без помарки,
Бестолковым любовником, что однажды
Влез в кровать по расшатанному карнизу,
С тем, у коего, все навсегда отнявши,
Бог удачи продлил золотую визу.
Они были лучше, чем я, атлеты,
Тот бегун, тот стайер в соленой майке,
Потому сейчас, в середине лета,
Сообщаю это им без утайки:
— Что ж вы робко теснитесь под тентом, тени?
Все здесь ваше, а я заказал лишь столик.
Так раскиньте в плетеных креслах колени,
Громовержец, шептун, сластолюбец, стойк.

В ТЕМНОМ БЛЕСКЕ

Н.

По железу ранним утром в темном блеске
чешет дождь, я поднимаю занавески.
Вот он, мой неотвратимый серый город,
дождь идет, как заводной и верный робот.
Ну, чего тебе в такое утро надо,
ранней осени бессмертная прохлада,
поздней жизни перекопанная нива,
линза света — переменчивое диво?
Здесь и зелень, и багряно-золотое,
мел и темень, да и прочее любое.
Все, что было, все, что стало и пропало:
думал — хватит, а выходит — мало, мало!
Пусть идет он, этот дождик, до полудня,
да и вечером, и ночью — вот и чудно!
Пусть размочит, размягчит сухую корку,
пусть войдет до самой смерти в поговорку.
И пока он льет, не зная перерыва,
все, что было, поправимо, нежно, живо.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Как жизнь перегородчата, я понял,
когда уже спускался вниз в долину,
и, словно при ремонте капитальном,
вдруг падали фанерные заслонки,
и открывался план первоначальный,
по коему и строили квартиру.
И становилось все так очевидно...
Еврейский мальчик, сызмала отличник,
насобиравший сто похвальных грамот
и кавалер серебряной медали,
способный, умница, любимец деканата,
уже открывший пух и прах карьеры,
уже отпивший мутного портвейна
хрущевской оттепели,
сочинитель легких
и нервных молодых стихотворений,
где размешались кровосгустки джаза
на ленинградской мертвенной водице,
где западные узкие наклейки
перешивались на шевьот советский,
но вовсе не стихами, а стежками
суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась.
Такой вот мальчик вытащил однажды
из колеса зачуханной фортуны
особый жребий. Этот жребий был
чернильно выведен на бланке Ленгорсправки:
"Ул. Красной Конницы...", а дальше только цифры.

Он дверь нашел, и все переменялось.

.
Как страшно приближаться к русской музе,
высокой, располневшей после трех
инфарктов, той, что диктовала и "Бога",
и "Пророка", "Недоноска", "Трилистник в парке".
Она сама себе под нос бормочет
наиновейшие стихотворенья,
она протягивает руку к вам,
увядшую, но женственную руку.
И тяжело пожатье и всесильно.
Она вам предлагает стул и чашку
кирпичного бессоннейшего чая.
Вот сахарница, бедный рафинад,
так подсластите первую отраву
и сделайте глоток — теперь уже
она вас никогда не пожалеет.

* * *

Н.

Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром...
 Боже, неужели, все уже случилось? Польшай, гроза!
 Разбежались голые пляжные людишки, и одни
 Бегают босые, голенькие дети за волной.
 Вот и я уселся, прячусь под навесом и залез в халат,
 Спички отсырели, в пачке раскрошился местный табачок.
 Что же будем делать?

Вспомним всех забытых, мертвых и живых,
 За морскую далью в некотором царстве накрывают стол,
 Под вишневой пенкой за вечерним чаем свежий каравай —
 Мы его преломим, мы его помаслим — каждому кусок.
 — Как вы побледнели, что вы, в самом деле?

Поправляйтесь тут.

— О, с какой охотой!

Неприменно, ясно, здесь наверняка...

Выйду на веранду, ты в цветастом платье,

рядом — гиацинт.

— Нет ли, ведь бывает, четверти стакана красного вина?

Всю эту дорогу, что считают жизнью, я любил тебя.

Всю эту минуту — перелет за море — я спешил к тебе.

И теперь мы вместе.

Видишь, аметистом блещет гиацинт,

И теперь, конечно, точно черноморье, плещется вино.

Как знакомо, мило, дорого, приятно мне твое лицо —

Русые кудряшки, сильные надбровья и припухлый рот.

Помню я, что имя было превосходно. Ты хранишь его?

* * *

Н.

Братя, пустите домой,
Черное платье — долой,
Дайте воды и вина,
Ночь наконец не видна.
Желтый плывет абажур,
Много, но не чересчур.
Кожа и лайка твоя —
Ах ты, зазнайка моя.
Пусть нам Вертинский споет,
Скрябин по клавишам бьет,
Черное это белье
Все ж не черней, чем было...
Сверху бубновый валет.
"Да, — говорю тебе, — нет".
Поздно приходит любовь,
Поздно расходится кровь,
Кровь у тебя на губах,
Спи у меня в головах,
Падает тонкий стакан,
Валится аэроплан,
Тонет британский линкор,
Выльется на коленкор
Самый последний глоток.
Дай мне забыться, дружок!

* * *

С. Довлатову

Все те же ионические поленницы в старом окне
подсыхают к отопительному сезону,
еще два-три визита, и вполне
доживешь до заслуженного пенсионера.
И когда я приеду в последний раз,
чемодан подволакивая с одышкой,
то с порога, как водится, вспомню Вас,
в Вашей комнате, сильно от Вас отвыкшей.
Но здесь как-то сподручнее атлантический перелет,
и когда бы стать ангелом на небесном шпиле,
то увидеть можно среди болот
то чухонское место, где жили-были,
и затем на обратном конце дуги —
безымянный берег в засохшем гриме, —
только там ведь, где сношены сапоги,
босоногого детства дается имя.
Потому и вытягивается губа,
и не можешь позвать и назвать не в силах —
так, в прозрачных сумерках век сгубя,
доживаешь, как мерин, до бредней сивых.
Было время, и мы не сказали: "Ты..."
Календарь закрыт, и не будет завтра,
потому и набиты разлукой рты,
не вкусившие досыта брудершафта.

ЕЛИСЕЕВСКИЙ¹

Здесь плыла лососина,
как регата под розой заката,
и судьба заносила
на окорок руку когда-то,
и мерцала огранка
янтарного чистого зноя,
и казалась таранка
лицо всероссийски речное.
Я сюда приходил,
под твои сталактиты барокко,
уходя, прихватил
от норд-веста и юго-востока
то, что знаю и помню
и чем закушу рюмку Леты;
только что-то сегодня
просрочены эти билеты.
Елисеевский, о!
Темнотою зеркал ты мне снишься,
высоко-высоко
ты под буйные своды теснишься,
ничего-ничего,
это было и, значит, со мною,
никуда не ушло,
ни за что не прошло стороною.

¹ Имеется в виду бывший Елисеевский гастроном в Ленинграде.

Стоит сунуть десятку
в твою золотую кабину,
и глубокую шапку
я снова на уши надвину.
Поглядит на меня продавщица
в бессмертном отделе.
Что ж, она отлучиться
могла, да и эти огни прогорели.
Я последним стою,
и звенит колокольчик: "Закрыто".
Ни фортуна, ни ссора,
ни даже пустая обида...
Сыпь мне мелочь, гони,
наконец, распоследнюю сдачу,
а умру — помяни,
и в ответ я невольно заплачу.
Потому что здесь был
пресловутый эдем нашей жизни,
потому что не место
ни каверзе, ни укоризне
там, где дали кусок
и налили граненый стаканчик,
где ломался басок
и бывал неуживчивый мальчик.
Не за жир и витрины,
а за истину истинной веры
и за Екатерину,
что глядела в огромные двери,
я запомнил тебя
кафедральным амбаром, собором
и гляжу на тебя сиротой,
но совсем не с укором.
Было, было — прошло
и уже никогда не настанет.
Осетрина твоя
на могучем хвосте не привстанет,
чтобы нам объявить:
"Полкило нарезаю потолще!"
Это все хорошо,

что так пусто, угрюмо и тоще.
Это все ничего,
если время и знамя упали,
даже лучше всего —
пустота в этом оперном зале.

КОЛЬЦО "Б"

Суета сует,
толчея толчей,
предзакатный свет
твой и мой — ничей.
Мой троллейбус "Б",
почему не "А"?
Говорю тебе,
что всему хана.
А куда пойдешь,
разве на вокзал?
Но не суматошь,
глянь, как сумрак ал.
На него падет
ночь темней ночей,
это наш оплот:
твой и мой — ничей.
Поведи меня
на чужой чердак,
отпусти меня
просто, просто так.
Ты меня умней
в девятнадцать лет,
глянь — из-за дверей
беспробудный свет!
У меня пальто —
шелковистый кант,

купим то и то
и развяжем бант.
В шесть утра опять
на троллейбус "Б".
Подойди, погладь —
говорю тебе.

ТАРАС БУЛЬБА

Загибает морозец —
наконец, наконец!
Погибай, запорожец,
застывай, холодец!
Уплывай по предплечью,
изуверская речь,
Запорожскою Сечью
можно насмерть засечь!
Что ж вы, руки родные
и родные войска?
Кто-то должен Андрия
порубать от виска.
Но шляхетски играют
кружева простыни,
никого не свергают,
укрывают они.
Говори, моя панна,
жизнь дешевле тебя,
и глубокая рана —
дорогая судьба.
Сбей последнюю пену,
повались наповал.
За такую-то цену
я и сам бы пропал.

* * *

Жизнь прошла, и я тебя увидел
в шелковой косынке у метро.
Прежде — ненасытный погубитель,
а теперь — уже совсем никто.

Все-таки узнала и признала,
сели на бульварную скамью,
ничего о прошлом не сказала
и вину не вспомнила мою.

И когда в подземном переходе
затерялся шелковый лоскут,
я подумал о такой свободе,
о которой песенки поют.

Я ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ТЕБЕ...

И медный царь, и Летний сад,
и Моховая
теперь в лицо тебе глядят,
не узнавая.
Смеркается среди глухих,
пустых окраин,
теперь наш детский край затих,
умолк, охаян.
И Невка мелкою волной
молчит под утро
о том, что знали мы с тобой,
но помним смутно,
о том, что я совсем забыл,
а ты задумал,
о всех, кто с нами жил и был,
уехал, умер.
А может, вместе ты и я —
два полубрата,
и эта невская струя
не виноваты
и в том, что нету никаких
теперь известий,
и мой звонок к тебе затих
в пустом подъезде.

ЛЮБОВЬ К ЛИЛОВОМУ

Совсем не осталось писем, и нет почти фотографий,
 Одни записные книжки исписаны до конца.
 А выбраться невозможно — как черту из пентаграммы,
 Пока повелитель духов не повернет кольца.
 Рассыпались наши фигуры: овал, квадрат, треугольник,
 Распался карточный домик, заржавел магнитофон.
 Теперь уже не припомнить, кто друг, кто муж,
кто любовник,
 Кто просто тянул резину, кто был без ума влюблен.
 Теперь уже не собратъся на Троицкой и Литейном,
 Молчат телефоны эти, отложены рандеву.
 Никто не сможет распутать тех сплетен
хитросплетенье,
 Поскольку все это было так ясно и наяву.
 Одиннадцатого апреля и двадцать четвертого мая
 Я пью под вашим портретом, читаю ваши стихи.
 Наземный транспорт бессилен —
уж слишком дуга кривая,
 Воздушный путь покороче, да вот небеса глухи!
 Жильцы чужих континентов, столицы и захолустий,
 Кормильцы собственной тени и выкормыши казны,
 Когда мы сменяем кожу своих обид заскорузлых,
 У нас остаются только наши общие сны.
 И тот, кто холодную почту своих кудрявых открыток
 Содержит в полном забвенье, как заплутавший обоз;
 И тот, кто честно выводит своих скитаний отрывок, —
 Уже понимают: бумага не принимает слез.

А тот, кто остался дома, как бы наглотался брома:
Не видит, не слышит, не знает, не чувствует ничего.
Он выбрал себе наркотик — пейзаж,

что в окне напротив, —

И искренне полагает, что раскусил Вещество.
Мы думали: все еще будет, а вышло, что все уже было.
На севере коротко лето — не следует забывать!
Любовь к лиловому цвету нам белый свет заслонила,
Прощай, лиловое лето, — проклятье и благодать!

* * *

Памяти 10 марта 1966 года

На старой-старой хроникальной ленте
я вижу снова этот темный день,
весь этот сбор — по мелочи, по лепте.
И не понять — он больше или меньше
всей прочей жизни — да и думать лень.

Морской собор в застуде и осаде,
цепочкой перевитая толпа,
два милиционера на ограде.
В каком таком Петра и Ленинграде
протоптана народная тропа?

Цветы замерзли. Тучи потемнели,
автобус принимает пышный гроб.
Зачем же вы стоите на панели,
неужто вы и вправду не сумели
киностекляшке глянуть прямо в лоб?

О милые, о смазанные лица,
прошло сто лет, и вас не различить.
Пока дорога снежная пылится,
пока скорбит убогая столица,
что делать нам? Нам остается жить.

И вы, друзья последнего призыва,
кто разошелся по чужим углам,
еще вот здесь, на старой ленте, живы,
еще шумит, галдит без перерыва
немая речь с подсветкой пополам.

НОЧЬ В КОМАРОВЕ

*Памяти
Анны Андреевны Ахматовой,
Ильи Авербаха,
Владимира Торопыгина*

Три могилы — Илюши, Володи и Анны Андреевны —
обошел и отправился вниз по шоссе на залив.
Постоял у торосов, последним, растерянным,
предзакатным лучом старину осветив.
Над заливом на сером, лиловом и клюквенном
проступает лишь серпика узкий ущерб;
вот еще полминуты, и куколом угольным
покрывается все, что глядело наверх.
Закрываются дни, отгулявшие намертво, —
эти будки, побудки, мечты и мячи;
то, что будет еще, навсегда упомянуто;
то, что так позабылось, хоть плачь да молчи.
Эти розы и слезы, сонеты приморские,
эти зимние дачи и пляжные дни,
эти теплые плечи, колени замерзшие,
на открытом шоссе неземные огни.
На разбитом рояле запавшие клавиши,
по которым мальчишеский марш проходил,
и на этом запущенном маленьком кладбище —
три ограды еще не открытых могил.

АЛЬБОМ МОДИЛЬЯНИ

Всякий раз, открывая альбом Модильяни,
я тебя узнаю, но не с первого взгляда.
На продавленном нашем кошмарном диване
ты вздремнула, и вмешиваться не надо.

В неумытом окне не пленэр Монпарнаса —
ленинградские сумерки в бледном разливе,
вечный вклад сохранила на память сберкасса,
но дает по десятке в несносном порыве.

Надо долго прожить, надо много припомнить,
и тогда лабиринт выпускает на волю
эту мягкую мебель разрушенных комнат,
что была нам укромной и верной норой.

И стена восстает из холодного праха,
и гремит колокольчик полночного друга:
"Открывай поскорее, хозяин-рубаха,
это смерть незаметна и легче испуга".

Собирается дождь над Фонтанкой и Невкой,
и архангел пикирует с вестью благою,
и на кухне блокадник шурует манеркой.
Просыпайся и сонной кивай головою!

Ты не знаешь еще — все уже совершилось
и описано в каждом поганом романе.
Я молился, и вышла последняя милость —
это жгучее сходство с холстом Модильяни.

КОМЕТА

За Фонтанку, за Международный¹,
На Сенную, на Обухов мост...
Где заката свет багрянородный
И кометы черно-бурый хвост.
Для чего повисла ты, комета,
Над Фонтанкой этой и Сенной?
Ты, недостоверная примета,
Что ты там твердишь над головой?
Или только потекаешь слуху,
Посреди завравшихся небес?
Через нашу смуту и разруху
Объяви, что знаешь, наотрез.
Говори, к чему ты нас склоняешь,
Шьешь и порешь, что портновский нож,
Именем забытым окликаешь
Или клин вшиваешь в брюки клеш?
Но на трубах дальнего завода
Виден ангел Страшного суда,
И поет горластая свобода
Где-то там, за площадью Труда.
Если вправду ты закрыть решила
Наш непоправимый календарь,
Ножичком, обточенным до шила,
Под лопатку бешено ударь.

¹ Старое название Московского проспекта в Ленинграде.

ЩЕЛКУНЧИК

Н.

Распахнулся бархатом лазурным,
Серебром нордическим светя...
Посреди плясало неразумно
Милое ученое дитя.
И темнее распускала люстра
Тени императорских затей.
Кто задумал нежно и искусно
Этим пляскам обучать детей?
Ведь искусству тлена не осилить,
И в глаза пророка не взглянуть,
Можно лишь предчувствие расширить,
Можно угол на тузе загнуть.
И когда, безумствуя, Нижинский
Выступает, точно призрак роз,
Только на секунду выше жизни
Прыгает божественный склероз.
И тогда летят чешуйки роем —
Лебеди, сильфиды и пажи.
Ты нам подскажи, мы их прикроем,
Ты нам объясни и прикажи.
Ведь под черным небом хватит моли,
И прихлопнем демонский полет,
Это вышло из Твоей неволи —
У Тебя и так полно забот.
Ведь сначала Ты поставил Слово,
Свел его с музыкой и тоской,
Этой ночью было все готово,
Рушилось нам в душу головой.

Мы б тогда и поняли, что значил
Замысел и замысла итог,
Кто и что Твое переиначил,
Кто Тебя забыл и не помог.
Всякому за это будет кара,
Хоть и всех накроет Твой прилив,
Кто умножил даже малость дара,
Кто схитрил, свой гений погубив.
Ниже мы разболтанной танцорки,
Той, что в Люциферово плечо
Слепнет, точно птица, дальнозорка,
Гибнет, как стрекозка, горячо.

ДОМ МУРУЗИ¹

Возле храма св. Пантелеймона, у вокзала,
 где толпа красавца антиленинца растерзала,
 дом доходный, девятиэтажный, в мавританском стиле,
 кто с достатком, да и те, кто с блажью, там и жили.
 Анфилады зал, гостиных, кабинеты, спальни,
 а на именинах, на крестинах так хрустальны
 эти баккара, бокалы, рюмки, вазы,
 эти броши-розы, броши-лунки, бриллианты, стразы...
 Там была квартира в бельэтаже — вид на церковь,
 и когда-то в ней бывали даже Фет и Чехов,
 Соловьев, Леонтьев, и Бердяев, и Бугаев,
 и немало также благородных разгильдяев.
 А какие пирожки, эклеры, а ботвиньи!..
 Даже анархисты и эсеры не противны.
 С этого балкона так удобно виден митинг,
 и швейцар расспросит: "Что угодно?" — ражий викинг.
 Но куда-то он исчез однажды (говорят, в эсдеки),
 под балконом головы задравши, человеки
 все кричали: "На-кася и выкуси по-таковски!"
 Горячо им возражали Гиппиус и Мережковский.
 Но матросы с золотом на ленточках в буром клеше
 отзывались об антиленинцах еще плоше.
 Были все резоны перелистаны — мало толку,
 а ВИКЖЕЛЬ ручищами землистыми разводил, и только.

¹ Знаменитый доходный дом на Пантелеймоновской улице в Петербурге.

АВСТРО-ВЕНГРИЯ

Да выковыривает плут
 Пуговицу с орлом.
Эдуард Багрицкий

На железнодорожной станции венгерской
 В толчее денек,
 А из-за ограды тычется железный
 Траурный венок.
 "Был здесь, — говорят мне, — госпиталь военный
 В тех сороковых".
 Сколько же забытых, сколько незабвенных,
 Мертвых и живых!
 Пыльною травкою поросло все это
 В цвет сухих небес.
 Пролетают мимо посредине лета
 "Форд" и "мерседес".
 "Здесь была казарма при имперском иге, —
 Объясняют мне. —
 И артиллеристы дыбили квадриги
 В этой стороне".
 Бакенбарды Франца и штиблеты Швейка,
 Вот и ваш черед!
 Заросла в ограде кладбища лазейка,
 Солнышко печет.
 Полегла Европа в рыхлые траншеи,
 Проиграл Берлин.
 Только я не знаю ничего нежнее
 Этих именин.
 Девочки Европы в горбачевских майках —
 Чудо из чудес.

Мальчики Европы в шортиках немарких,
"Форд" и "мерседес".

Что же я глазею, старый иностранец,
Тент мой полосат.

Пусть меня охватит нежный их румянец,
Легкий их азарт.

О, как бесконечно долго я не видел
Этой суеты.

О, как тихо тронул европейский ветер
На венке цветы.

Не припасть навеки черными губами
В полосатый шелк.

Только б расплатиться мелкими деньгами
За уют и долг.

И венок трепещет траурною лирой,
И слепит Дунай.

Пользуйся, товарищ, этой жизнью сирой,
Но не умирай.

ДОМ ПОЭТА

Я был в квартире Эндре Ади¹
И не застал там никого.
И все же, все же, бога ради,
Не забывайте дом его.

Ни полинялые диваны,
Ни рамки в стиле "либерти",
Венецианские стаканы,
Цена их — бог не приведи!

Не разрушайте дом поэта
Среди корысти и беды,
По случаю кончины света
И всяческой белиберды.

Свет отгорит и вспыхнет снова,
Взойдут народы и падут,
Но этого молитвослова
На столике не создадут.

И выцветший на фото локон,
Очаровательный овал
Из миллиона избран богом,
Чтоб я его поцеловал.

¹ Э. Ади (1877–1919) — выдающийся венгерский поэт.

И, наконец, диванный валик,
Где Ади умер молодым,
Мне виден через тот хрусталик,
Которым в вечность мы глядим.

И нам понять доступно это,
И выразить дана нам мощь,
Приют поэта, дом поэта —
Прихожая небесных рощ.

* * *

Где следопыт в шинели каменной
стоит на страже за римской храминой,
где профсоюз стучит печатями,
а лучший кровельщик бузит с девчатами,
что перемазали наш домик в розовый,
и он теперь-то и вовсе бросовый.
Где я вбегал к тебе по лестнице,
жене и неженке, своей прелестнице,
и где ступенька доньине прогнута...
О, будь удачлива и вечно проклята!
За все и бывшее, за все небывшее,
за все, оскомину до дна набившее,
за все, что ты сказала, сделала,
за то, что знала и что не ведала,
за всю твою любовь-прощение
и за предательское поручение —
любить и звать тебя последним шепотом,
катить по жизни гремучим ободом,
прийти однажды на Мархлевского —
смиренно, тихо, украдкой, ласково —
сдать часовому и нож, и маузер,
за то, что слезы я впотьмах размазывал,
и врал, и верил, и звал отсюда
к северо-западу стыда подсудного,
за то, что ты меня с поличным выдала
на волю этого крутого идола,
и за его допросы вежливые,

за папиросы его насмешливые.
За ваши козни окаянные,
что отпустили без покаяния,
круша известку притворным высверком,
жить разрешили бездомным призраком.

БРЕСТСКИЙ МИР

В переулке Малом Левшинском,
в доме стиля рококо
Блюмкин жестом самым дружеским
размахнулся широко.
И павлины на плафоне
поглядели на него,
Мирбах в шелковом пластроне
не заметил ничего.
Не успели немцы чинные,
обитатели тех мест,
и по этой же причине
зря катался Троцкий в Брест.
Изумленная прислуга
опрокинула бокал,
некто в сером от испуга
необдуманно икал,
А посол стоял безжизненный,
наводя на строчки взгляд,
потому что сам Дзержинский
косо подписал мандат.
Фридрих, Менцель, Тинторетто
наблюдали со стены,
ведь они-то знали: это —
самый первый день войны.
Кайзер шел на Украину,
Черчилль крейсер торопил.
Блюмкин адскую машину
раскачал и отпустил.

Он стоял в кожанке новой —
мелитопольский еврей,
Герострат темноголовый,
хитроумный Одиссей.
А на кухоньке убогой,
поджимая камень губ,
из тарелки неглубокой
Ленин ел перловый суп.
И глядела Немезида
в зачерненное окно —
было все уже убито,
Все до срока решено.
Даже гений Леонардо
не сумел бы им помочь.
Блюмкин бросился обратно,
на Лубянку, в злую ночь.
Что касается же Мирбаха —
не осталось ничего.
Только имя. Мир праху его!
Все? Да, только и всего!

ФОНТАНЧИК

В коктебельском парке фонтан убогий,
Вылетает струйка: разлетается прахом
Водяным, но, однако же, сколь угодной
Она кажется мне, да и местным птахам,
Что хватают в полете пыльцу золотую
От высокого солнца и в радужной сетке,
И фонтанчик докладывает: "Салютую
Оком вод, разлетевшимся на фасетки".
Припадая губами, подставь ладошку —
Ничего, что мало, важней — старанье,
Ты живи и пей себе понемножку,
Выпьешь вечность — предсказываю заранее.
Подставляй под струйку седые букли,
Пусть течет за шиворот — так и надо.
Вот под майкой соски наконец набухли,
Это — женственность мужества (см. Паллада)
Подсчитай мне время мое, клепсидра,
И налей стаканчик еще с походом,
Ты, струя, единая не обрыдла,
Ибо схожа ты со слезой и потом.
Ибо что-то родное, совсем родное,
Что-то братское видно в твоём паденье
В эту землю, жадную к перегною,
Безысходно-вечную почву тленья.

”...И В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДА...”

Через одну личность средних лет вы получите большую радость. Совершайте начатое дело. В трудный час вам помогут.

Из гадательного билета

Мне морская свинка нагадала
 Ровно тридцать лет тому назад
 Где-то у Обводного канала,
 Где вокзал и где районный сад.
 Там по воскресеньям барахолка
 Составляла тесные ряды,
 В тех рядах я разбирал подолгу
 Модернистов ветхие труды.
 Мне там попадались: Северянин,
 ”Аполлон”, ”Весы”, ”Гиперборей”...
 И томился вечер у окраин
 Петроградской юности моей.
 Торговали книгами, играли
 В карты и крутили патефон,
 Там-то мне как раз и нагадали
 Долгий путь под гулкой перезвон
 Довоенных джазиков гавайских,
 Медленного ”Танго соловья”...
 Белой ночью и в потемках майских
 На дорогу эту вышел я.
 ”Совершайте начатое дело,
 Кто-то вам поможет в трудный час”.

И печально свинка поглядела,
Рафинад поймала, изловчась.
Видно, что-то знала эта свинка,
Только не хотела рассказать...
И вопила старая пластинка,
Что пора бы руки нам пожать.
Это пел неугомонный Козин,
И гремел разболтанный трамвай.
Помню я, как, весел и серьезен,
Веял кумачами Первомай.
Помню я, что навсегда приметил
Эту свинку и ее совет.
Никогда никто мне не ответил,
Угадала свинка или нет.
Кто помог мне в бедный, пылкий, трудный
В три десятилетия долгий час?
Может быть, от свинки безрассудной
Вся моя удача началась?
Белой ночью, сумрачною ранью
Дешево купили вы меня,
И лежит билетик ваш — гаданье
В книге Михаила Кузмина.

В СТАРОМ ЗАЛЕ

В старом зале, в старом зале,
над Михайловской и Невским,
где когда-то мы сидели
то втроем, то впятером,
мне сегодня в темный полдень
поболтать и выпить не с кем —
так и надо, так и надо
и, по сути, поделом.
Ибо что имел — развеял,
погубил, спустил на рынке,
даже первую зазнобу,
даже лучшую слезу.
Но пришел сюда однажды
и подумал по старинке:
все успею, все сумею,
все забуду, все снесу.
Но не тут, не тут-то было —
в старом зале сняты люстры,
перемешана посуда, передвинуты столы,
потому-то в старом зале
и не страшно и не грустно,
просто здесь в провалах света
слишком пристальны углы.
И из них глядит такое,
что забыть не удастся, —
лучший друг, и прошлый праздник, и —
неверная жена.

Может быть, сегодня это наконец-то разобьется
и в такой вот темный полдень будет жизнь разрешена.
О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом, дайте слово
никогда меня не бросить и уже не обмануть.

Боже мой, какая осень! Наконец, какая проседь!

Что сегодня ночью делать?

Как мне вам в глаза взглянуть!

Этот раз — последний, точно, я сюда ни разу больше...

Что оставил — то оставил, кто хотел — меня убил.

Вот и все: я стар и страшен,

только никому не должен.

То, что было, все же было.

Было, были, был, был, был...

МАСТЕРСКАЯ

С.Р.

В большой пустой мастерской
на улице Малой Морской
у милого друга в гостях
я жил, а он второпях
отозван был в худсовет.
Я мрачно жевал обед.

Двенадцать оконных рам
с цветным стеклом пополам
смешивали свет дневной
над моей головой.
И был я тих, одинок,
и ни один звонок
не потревожил меня
до исхода дня.

Только безумный дождь
все шелестел, что хвощ,
и рисовал разрез
всех сорока небес.
То, расплывчато-ал,
переполнял бокал,
то, сиренево-хмур,
раскачивал абажур.

А я все глядел в окно,
и стало совсем темно,
и что-то плело наугад
дождика веретено.
Среди цветного стекла
выступила голова
размытая и сказала
неясные мне слова:

”Мы ждали тебя, дружок,
мы знали — ты будешь здесь.
Когда-нибудь весь кружок
увидишь, сейчас — не весь,
поскольку у нас дела
на разных концах небес”.
И снова струя текла
и билась о мой навес.

Расплющенным серебром
дождь пасмурный колдовал:
”О чем вы, о чем, о чем,
о чем вы?” Но я-то знал,
что здесь накопился мрак,
что демоны всех мастей
в холстах и среди бумаг
подавливают гостей.

Что в том вот темном углу
стоит антрацит-рояль.
Какую еще хулу,
какую еще деталь
извергнуть и описать?
Он сел, приодернул фрак...
Хочу вперед забежать,
но только не знаю — как.

Когда он уйдет к себе,
взлетит через сто стропил,
оставит очки в трубе,
помнет оперенье крыл,
я сразу узнаю, кто
такой он в жизни живой.
Но, как говорил Кокто:
"Размешивай все водой!"

Поскольку и кровь, и нефть,
и краска, и чистый спирт
явились на белый свет
не так, чтоб их просто пить.
А нужен должный раствор —
тогда и взалкают их!
Зачем я болтаю вздор?
Зачем пианист затих?

Квадратным своим лицом
на клавиши он упал,
стократно своим кольцом
по дереву он стучал.
Был это условный знак,
масонский, а может — нет.
И в худшей из передряг
бывают конец и свет.

Поскольку я подписал
все то, что он мне сказал,
и подпись горячей свечой
на воздухе начертал.
И вдруг проступил закат,
и кончился темный дождь,
и край небес свысока
явил багровую мощь.

И город мой просиял
последним ярким цветком.
Но это я прозевал,
поскольку заснул тайком.
Явился хозяин мой,
закончился худсовет,
и даже принес домой
румынский ром "Кабинет".

Мы выпили по сто грамм,
включили телеэкран,
со всех четырех программ
вопил Франсуа Легран.
Парижский простой певец,
он был такой молодец,
такой элегантный стервец,
такой талант, наконец.

ШЕСТОЕ МАЯ

За десять лет два раза — тот же день,
шестого мая, было воскресенье.
Медовая московская сирень,
лиловое густое сновиденье
мотались на углах. На телеграф
зачем-то шел я, стиснутый народом,
и вдруг нос к носу... И она, задрыв
свой горборимский, ибо шла с уродом,
какой-то смесью чушки и хорька,
и потому особенно надменна.
Хотя нам было с ней наверняка
о чем поговорить. Одновременно
пролить слезу на теплый тротуар
шальной Москвы, пустой, как все столицы
в воскресный день. И ветер продувал
Тверскую и не мог угомониться.
Он нес пустые пачки "Мальборó",
сиреневые гроздья, чьи-то письма...
О жизнь, ты возникаешь набело,
как из души прорвавшаяся песня.
Ты возникаешь наугад, впотьмах,
где ищешь выключатели на ощупь.
Ну вот и окна вспыхнули в домах,
мы двинулись на Пушкинскую площадь.
Она была подругой двух друзей
в иных местах и временах... когда-то.
Ее белье пора продать в музей,

и, я ручаюсь, воздадут богато.
Все это было в лучшей из систем,
где ипокрена бьет на черном хлебе.
Зачем, я вопрошаю вас, зачем
и почему? И что всего нелепей —
остались оба, в общем, в дураках.
Не для того ль она, дохнув шампанским,
сирень перебирала на руках
здесь, на Тверской, с каким-то иностранцем?
Который, явно, был здесь не у дел,
на выставках чего-то там наладчик.
Из-за чего ж, дружок, ты погорел,
мой ученик, мой гениальный мальчик?
Из-за чего нешуточный свой дар
принес другой на сей алтарь грошовый?
И здесь уже кончался тротуар,
и начинать им не хотелось новый.
Я видел, как они вошли в такси,
и "Волга" побежала по бульварам.
Кончаю — ни смущенья, ни тоски,
ни ругани — и все-таки недаром...
Ведь что-то было. Что-то, хоть слеза,
хоть полсловечка, дырочка в перчатке.
Я повернул блудливые глаза —
из телеграфной двери, из тройчатки
процеживались словно в решето
пестрейшие приезжие пижоны,
и булькала толпа у ВТО,
синяя в джинсовне на все фасоны.
Шестое мая — день известный встарь,
пятнадцать лет назад он много значил.
День ангела жены. Но календарь,
как водится, его переиначил.

АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ

Ангел мой, истребитель,
Через десять минут наш полет.
Кто-то свой проявитель
На воздушную пленку прольет.
В нидерландской короне
Из канала глядел ты туда,
Где донныне в глухой обороне —
Наша истина, наша беда.
Вот моторы готовы,
На турбинах горит керосин,
Вознеси меня над Комарово
И спикируй над ним, господин.
Там, на кладбище малом,
Там, где Анна, Володя, Илья,
За другим перевалом
Должен быть похоронен и я.
Но покуда, покуда
Я не кончил большого труда,
То ни Понтий, ни даже Иуда
Мне, увы, не опасны. О да!
Ангел мой, истребитель,
Мой растлитель, товарищ, двойник,
Ты — письмо, это я — отправитель,
И поэтому слишком приник
К этим крыльям и этой кабине
И так дико ору в племофон...
В небесах, на твоей половине
Я — как ты, и к тому же — грифон.

Потому что однажды
Я, дружок, оторвусь от тебя
И над Аңдами жажды
Атакую, тебя истребя,
Твой пробью алюминий,
Оборву неизбежный полет,
На моей половине
Это только запишут в зачет.
Словно легчик Гастелло
Ты падешь на проклятый земшар.
Выше духа и дела —
Истребление, гибель, пожар.

УХМЫЛКА ЛЕОНАРДО

Я вышел на канал
через настил горбатый,
и Амстердам мерцал,
под вечер бесноватый,
шел в небеса дымок
чужой марихуаны,
я так устал, промок
под местные дурманы.
Я сел на парапет
лилового залива
и заказал в ответ
четыре кружки пива:
"Бельгийского", "Фуше",
"Мадонны" и "Короны",
и захватил в душе
плацдарм для обороны.
Налево за стеклом
загадочней Джоконды
меня манили в дом
одни такие блонды,
что снял бы я часы
швейцарской фирмы "Роллекс"
и наколол усы
на этот южный полюс.
Но поздно! И при мне
мои часы и деньги,
и я давно вовне,
в смоленской деревеньке,

где бедная моя
спит на погосте няня.
Летейская струя
летит, меня тараня.
Последний "мессершмит",
последний Талалихин,
я заживо убит
и замертво накликаю
на ваш последний пир
у аравийской бездны.
Оставь меня, кумир,
друг другу бесполезны,
совместно мы глядим
на знаки Зодиака,
ты мне необходим,
и я — тебе, однако,
все было и прошло
при Прусте и Верлене,
но очень хорошо
в твоём разлечься тлене.
А ну, мерцай, мани
в развалы и бордели,
забудь и помяни
меня в пустой постели,
где нету ничего —
ни спазма, ни азарта,
и вот взамен всего —
ухмылка Леонардо.

СИРИУС НАД МААСОМ

Глядя на берег Мааса, где стройки железобетон...
Боже, какая гримаса в этом пейзаже речном!
В старом пустом ресторане, где вывален век либерти,
Что-нибудь, хоть Христа ради, но выпроси, приобрети.
Дайте мне рюмку ликера, дайте ппината еще,
Вздора, фурора, фарфора, но только еще и еще.
Пылко дышали тарелки — "веджвуд" с копченым угрем,
Выдумка смерть и безделка, может быть, мы не умрем.
Может быть, вечным обедом нас на террасе займут,
Ибо ответ нам неведом, ибо свидетели врут.
Так оскорбительно глупы, можно сказать, что глупы
Рябчиков тухлые трупы, устрицы, раки, супы.
Тихие флаги речные мимо уносит Маас,
Тени и пятна ночные... Сириус смотрит на нас.
Будь же ты проклято, небо, демон распятой земли,
Если за корочку хлеба мы тебя приобрели.

”НОЧНОЙ ДОЗОР”

У ”Ночного дозора” я стоял три минуты,
и сигнал загудел, изгоняя туристов.
Я бежал, я споткнулся о чекан Бенвенуто,
растолкал итальянок в голландских батистах.
Что-то мне показалось, что-то мне показалось,
что все это за мной, и мой ордер подписан,
и рука трибунала виска мне касалась,
и мой труп увозили в пакгаузы крысам.
Этот вот капитан, это — Феликс Дзержинский,
этот в черном камзоле — это Генрих Ягода.
Я безумен? О, нет! Даже не одержимый,
я задержанный только с тридцать пятого года.
Кто дитя в кринолине? Это — дочка Ежова!
А семит на коленях? Это Блюмкин злосчастный!
Подведите меня к этой стенке, и снова
я увижу ее в кирпичной и красной.
Заводите везде грузовые моторы,
пусть наганы гремят от Гааги до Рима,
это вы виноваты, ваши переговоры,
точно пули в ”десятку” — молоко или мимо.
И когда в Бенилюксе запотевшее пиво
проливается в нежном криветочном хламе,
засыпайте в ячменном отпаде глумливо.
Ничего! ВЧК наблюдает за вами.
Вас разбудят приклады ”Ночного дозора”,
эти демоны выйдут однажды из рамы.
Это было вчера, и сегодня и скоро,
и тогда мы откроем углы пентаграммы.

* * *

Саксофонист японец, типичный самурай,
Играет на эстраде: "Живи, не умирай!"
Скажи мне, камикадзе, ужасен, волосат,
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
Куда тебя, японец, безумец, занесло?
Какой сегодня месяц, трехзначное число?
Дурацкая Европа дает аплодисмент —
Как все они похожи — и Каунас, и Гент!
А ну, скажи, Цусима, ответь мне, Порт-Артур,
Махни косою, раскосый, из этих партитур.
Там, в Тихом океане торпедный аппарат,
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
Со спардека эсминца взгляни на Сахалин.
А здесь на мелком месте ты, как и я, один.
Надень свои петлицы, сними свои очки,
Одной заглохшей клумбы мы оба червячки.
Над пушками линкора последний твой парад.
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?
Что скажет Ямамото в открытый шлемофон?
Чем кончится проклятый, проклятый марафон?
Ты рухнешь над заливом на золотое дно...
Сыграй мне на прощанье, уж так заведено.
Скажи на саксофоне: рай это тоже ад?
Неужто нет возврата куда-нибудь назад?

ПОД ГЕРБАМИ

Все сбывается: тент и стакан "Хайнекена",
и хмельная ухмылка того манекена,
что глядит на меня из соседнего "шоба",
невезуха, разруха, Россия, Европа.
Вот на ратуше блещут гербы Роттердама,
отчего ж я теперь повторяю упрямо:
"Ничего не хочу, не умею, не надо".
Невезуха, разруха, блокада, досада.
Все верните, проклятые демоны суток,
обновите мне плоть, обманите рассудок,
пусть покроются коркой рубцы и стигматы.
Боже, Боже, ты видишь — мы не виноваты!
Дайте мне ленинградскую вонь продувную,
отведите меня на Фонтанку в пивную,
пусть усядутся Дима, и Толя, и Ося.
И тогда я скажу: "Удалось, удалось!"
Будь ты проклята, девка, тоска и отравы,
моя вечность налево, твоя вечность направо.
Так подскажем друг другу кое-что по секрету,
поглядим на прощанье на Мойку, за Лету,
за толпу серафимов, Магомета и Будду.
Ты меня не забудешь, я тебя не забуду.
Там, за временем вечным, за эйнштейновым мраком
всякий снова хорош и нескладен, и лаком,
на последнее слово, что молвить негоже,
на движок первопутка, что проходит по коже.

ЗА КАНАЛОМ

За каналом, каналом,
за Обводным, Вест-кирхе, любым,
за собором стоглавым,
что закатный мне выстроил дым,
за Голландией Новой,
за Голландией старой, любой —
я еще не готовый
тот хороший дурак молодой
в синих брюках китайских
и в футболке с динамовским "Д".
И скажу без утайки —
только этим всегда и везде,
только этим и буду,
ибо так мне внушает канал...
Что прохожему люду
до меня? Я балбес и бахвал,
переулочный гений,
заканальный опальный шатун,
я из тысяч сцеплений
выплываю — каналья-пывун.
Ничего мне не надо —
ваших денег, похвал, прилипал,
лишь ночная прохлада,
серый дождик и черный канал.
И душа за каналом,
за каналом вы ждите меня,
в этом дымном и алом,
душном свете кляните меня.

Только не отгоняйте
час, когда я вернусь на канал,
я тогда на канате
подтянусь — это старый закал.
Поднимусь к вам на барку,
где задраен последний наш день,
в деламотову арку
проплыву под холодную сень.
Тянет, тянет со взморья
пароходным народным дымком,
и в моем комсомоле
только горе и счастье тайком,
только страшная песня
и на шапке суконной звезда,
никогда не воскресну,
а вернусь просто так навсегда.
Ты очнулся, очнулся,
за каналом ты прежний, ты свой,
точно ополоснулся
этой грязной опасной водой.
Но она выше жизни,
тише смерти и чище беды
за каналом в отчизне
вечной тени, где будешь и ты.

НИНЕЛЬ

В те времена она звалась Нинель,
звучало Нонна как-то простовато.
Все просыпалось, и цветенья хмель
нам головы дурил и вел куда-то.
Студентка иностранных языков,
она разгрызла первые романы,
и наконец Сережа Васюков,
как некий шкипер, выплыл из тумана.
Он по-французски назывался Серж,
и он пробил годов каменоломню,
я с ним дружил и все-таки, хоть режь,
как это получилось, не припомню.
Он появился сразу, он вошел
в зауженных портках и безрукавке
и с самого начала превзошел
всех остальных беседами о Кафке.
Он где-то жил в подвале на паях
с другим таким же футуристом жизни.
Они исчезли, заclubился прах,
и нету их давно в моей отчизне.
Она осталась и звалась Нинель
и декадентским мундштуком играет,
она преодолела канитель,
взяла барьер. Довольна ли? Бог знает...
Я помню, как в расширенных зрачках,
где кофеин перемешался с кайфом,
я отражался и почти зачах
в ее унылой комнатке за шкафом.

На одеяле, вытертом дотла,
на черной неприкаянной кровати
мы подружились, и она была
порой нежна и своенравна кстати.
Но бедность, бедность, черствый бутерброд
и голоса соседей через стенку —
ей наплевать, она кривила рот,
презрительно играя в декадентку.
Но почему — играя? Самый ствол,
все то, что потаенно, а не мнимо,
все сны, повадки, чувственность и пол —
все было декадентством в ней, помимо
простонародной силы и ума,
полученных в наследство, точно слепок,
как наша суть, как наша жизнь сама,
от государства первых пятилеток.
Она переметнула шаткий мост
от Незнакомки или Гедды Габлер
сюда, где гений и больной прохвост —
Серж Васюков — почти ее ограбил,
все отобрал — корниловский сервис
и две картины снес в комиссионку,
и все-таки он продвигался вниз,
торчал, сидел и отрулил в сторону.
Не то она. Она взяла свое,
она прошла в газеты и журналы.
Теперь уже французское белье,
загранка, Нотр-Дам и Тадж-Махалы.
Невнятные, но бодрые стихи,
рассказы для детей, инсценировки,
а там, в пятидесятых, — все грехи,
все бездны до последней рокировки.
И все-таки... Я видел, как она
мундштук подносит к вытянутым губкам,
как, мертвенно и траурно бледна,
сидит в застолье и внимает шуткам,
как подбирает на ночь портача
из молодых литературных кадров
и, оживляясь вдруг и хохоча,

предсказывает правду, как на картах.
Ох, декадентка... Боже, Боже мой,
куда все делось, нет ее "Собаки
бродячей", и отметки ножевой
не оставляет Балашов¹ во мраке,
не хлещет портер одичалый Блок,
и Северянин не чудит с ликером.
Закрыто навсегда и под замок
то смутное предчувствие, с которым
когда-то мы вошли и разбрелись,
и все случилось просто и резонно,
и все забыто. И остались лишь
твой жадный смех и твой мундштук, о Нюнна!

¹ Некто, изрезавший ножом холст И.Е. Репина "Иван Грозный и его сын Иван" (инцидент имел место в 1912 г.).

МАЙЯ

Мы пошли к пляжному фотографу, предприимчивому парню, обогнавшему конкурентов на целый корпус.

Он выписал из Вьетнама обезьяну и таскал ее за собой по коктейбельским пляжам.

Как-то раз я встретил их в парке — бросилась ко мне обезьяна, обняла за левую ногу.

Почему именно за левую ногу?

Я был смущен, даже обижен.

Что-то знала, что-то понимала обезьяна...

Но потом обида моя затерялась среди теней волошинского залива,

и я решил сфотографироваться с обезьяной.

Вот стою я перед объективом, обезьяна уселась на плечо моей дамы.

”Сидеть, Майя, сидеть, моя золотая”, — сказал фотограф.

И вдруг обезьянка крохотной ладонью с отшлифованными коготками

постучала мне по лбу, провела по вискам и морщинам.

Затараторили, засмеялись дети,

отдернула ладошку обезьяна,

словно предсказатель, пойманный с поличным.

”Работать, Майя, работать!” — строго выговорил фотограф.

Щелкнул затвор, кончилась процедура.

Почему она притронулась к лобной кости?

Сначала обнимала мою левую ногу,

а потом погладила виски и морщины?

Символический жест? Простая случайность?
Некое предостережение от старшей ветви?
А может, все это видение, наваждение,
одним словом — майя.
Обезьяна Майя — тезка таинственной богини
из самого темного пантеона.

ДРЕВЕСНАЯ ЛЯГУШКА

В полночь я вернулся к своему домику в приморском парке и увидел, что на пороге меня ждет древесная лягушка.

А может, и не древесная (я в этом плохо разбираюсь) — просто спинка ее была в мелком симметричном узоре, прежде я такого никогда не видел.

Я открыл дверь, и чемпионским прыжком она перескочила ко мне на коврик.

Я зажег настольную лампу, навел на лягушку круг света.

Не уходила лягушка.

Быть может, она что-то хотела мне доверить, принесла важную новость, предсказание, сводку погоды?

Быть может, я должен был догадаться по симметрии ее узора о том и об этом?

Тщетно.

Глядел я, недогадливый, усталый, надменный на земноводную вестницу из болота и парка.

Теперь-то я догадываюсь, что мог показаться ей бродячим деревом

какой-то особой породы,
о которой лягушки знают больше,
чем сами про себя эти деревья.

ЗООМАГАЗИН

На последней улице последнего городка Европы — зоомагазин — в последнем доме.

Одна витрина глядит на канал и в поле, другая выходит к ратуше и собору.

В той, самой крайней, что на канал и в поле, выставлен белый какаду на продажу.

Не знаю точно, сколько живут попугаи, но этот видел Кортеса и Дрейка.

А в той витрине, что поближе к собору, сооружен аквариум два метра на два —

в этом аквариуме нечто вроде тропического рифа, водоросли, актинии, моллюски и рыбки, рыбки.

Королева аквариума туманносетчатокоралловоголубая стоит две тысячи марок — какое движение, приливы, отливы, моторчик работает, бьет ключом стихия.

А за углом, где какаду в старинной клетке, все уже потемнело...

Только канал, только туман с поля...

Белый какаду вспоминает Дрейка и засыпает, потом просыпается и вспоминает Кортеса,

потом что-нибудь еще, вроде гибели "Великой Армады"...

Последний из последних

в последнем окне Европы.

ПО ШПАЛАМ

Поздним августом, ранним утром,
Перестуки, гудки, свистки.
На балтийском рассвете мутном
то, что прожито, бьет в виски.
Деревянный дом у вокзала,
тьма заброшенных фонарей,
тут вот молодость разбросала
лапу, полную козырей.
Вот и кончились три десятки
самых главных моих годов,
до копеечки, без оглядки...
Ты так думаешь? Я готов
здесь остаться в глухих завалах,
точно выполнив твой завет,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит рассвет.
Атлантической солью дует
ветер Балтики и тоски,
на перроне меня целует,
словно у гробовой доски.
Только Оливисте в тумане
пробивается в небеса,
ничего не скажу заранее —
лишь послушаю голоса
перестуков, гудков, сигналов,
где-то катит и мой вагон,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит огонь.

Я был молод, и ты был молод,
Старый Томас, я старый пес.
О, какой на рассвете холод,
этот август — почти мороз.
Здесь под зюйдом моя регата
разбивала волну о киль,
это было тогда когда-то
и ушло за полтыщи миль.
И пришла, наконец, минута —
ноль в остатке, бывай, прощай,
только, все-таки, почему-то
я скажу тебе невзначай.
Где-то там намекни, явись мне
в страшном августе, в полусне,
раньше смерти, но выше жизни,
брось поживу моей блесне.
Золотую форелью первой
и последней, и здесь беда...
Бледной немочью, черной стервой
падай в Балтику навсегда.
Но не трогай стигматов алых,
все иное — пусто клочок,
ведь на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит зрачок.

ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ

Открываю шторы —
Октября второе.
Рассветает. Что вы
Сделали со мною?
Темная измена,
Пылкая зарница?
"Оставайся, Женя", —
Шепчет заграница.
Был я семиклассник,
Был полузащитник,
Людам — однокашник,
Чепухи зачинщик.
Был я инженером,
Все мы — инженеры.
Стал я легковуром
Самой тяжкой веры.
Фонари темнеют,
Душу вынимают,
Все они умеют,
Но не понимают.

ВЕСЬ ДЕНЬ ДОЖДЬ...

Целый день неумный дождь над заливом,
Бьет с небес по лаврам, акациям, розам.
Чуть устанет и — с минутным перерывом —
начинает, усыпляет, как наркозом.
И приходится сидеть мне у веранды
и глядеть, как волны, точно мериносы,
всей отарой выбирают варианты:
сдать руно — как будто выплатить партвзносы.
Этот блок большевиков и беспартийных
мне понятен, и я сам оттуда родом,
только луж овальных, круглых, серповидных
стало больше, и глядят они болотом.
Что же делать? Надо, стало быть, сушиться,
натянуть фуфайку, выпить рюмку,
и с дождем, выходит, можно нам ужиться,
влиться в струйку, вытянуться в струнку.
А всего вернее, может, затвориться,
пусть лукавит, соблазняет и лепечет,
что подмочено — уже не состоится.
Дождик знает, что там чет, а что там нечет.
В этот бред, капель древесную, дремоту
он подбавит два-три слова, две-три капли,
засыпание, забвенье, позолоту:
как бы, будто, словно, славно, вроде, вряд ли...

* * *

Пополам раздвигая легкотяжелую штору,
 я от ненависти к зазеркалью опускаю глаза.
 Что хочу я припомнить, что пришлось бы мне к сердцу и
 впору —
 бесприютная тьма и заката вчерашнего полоса.
 Почему-то нельзя эту штору задернуть на сутки,
 надо злобно глядеть в неприметный и жалкий пейзаж,
 в бестолковую заумь, расцветающую в рассудке,
 отбивая стопую почти олимпийский мандраж.
 Как в замыганном клубе экран разбухает от пятен
 редких райских видений — они ведь бывали и там,
 все равно вид реальности вымыслен и неприятен,
 неопрятен всегда и особенно по утрам.
 Как затворник я перебираю размытые тени —
 то дубовую Англию, то расстроенный римский фонтан,
 вот и речка Фонтанка обмывает у спуска ступени:
 среди всей этой челяди я меценат и тиран.
 Потому что уже ничего не привидится внове,
 кроме утренних сумерек и городской суеты,
 потому что предельно насыщен раствор пересоленной крови,
 и едва пробивается день, в законные рухнув кусты.
 Потому даже луч твоего зодиака
 надо мною не властен, а только сулит свою жуть,
 потому-то у собственной жизни в ногах я дремлю, как собака,
 и пытаюсь во сне ее теплую руку лизнуть.

ПЯТИДЕСЯТЫЙ

Раскаленный фуникулер до причала пускает зайчик,
поднимаясь к санаторию Фрунзе имени Орджоникидзе.
В магазине на выбор — пол-литра, чекушка, мерзавчик...
Слева — дом дипломатов, а прямо — идут журналисты.
Это около Сочи. Я вижу все это впервые.
В трикотажных трусах с голубой полосой "Динамо"
я сижу под навесом и прыгаю в передовые
штормовые валы, что на пляж засылает упрямо
некий дух черноморья, властелин срединного года,
из пучины глядящий в затылок двадцатого века.
Сколько женского тела — шоколад, молоко, терракота,
но гораздо вкуснее поджаристый цвет чебурека.
Все прекрасно, ужасно и что-то, пожалуй, понятно,
нестерпимая блажь напозаёт к закату с Кавказа.
Закрываешь глаза — через веки багровые пятна,
проступают тревожно, как будто экзема, зараза.
Солнце Кобль еще высоко, над Москвой и над Рицей в зените,
сам же горный орел наблюдает без промаха в оба.
То, что знаешь, — храни, притаись, уподобься зенице
ока...

* * *

В городе Кембридже под Рождество
снегом негаданным все развезло:
клумбы, куртины, газоны, аллеи,
горизонталы и параллели.
Ивы и клены, трава и кусты
стали мохнаты, а были пусты.
В доме чужом телевизор туманный,
джин откровенный и виски обманный,
свежее пиво и древний коньяк
и путешественник — бедный дурак.

СВЕТ С ВОСТОКА

В отеле "Атриум" — пять звездочек по Бедекеру —
 заполуночный ужин уходит в рассветный "фриштык".
 Ex oriente lux пробивается за портьеру,
 золотя у подруги припудренный прыщик.
 Ex oriente lux — это попросту "свет с Востока",
 кажется, что-то гностическое по части Святой Софии.
 Выхожу на балкон и затягиваюсь глубоко
 нервным, нежным озоном, совмещающим грозовые
 придунайские волны и советские вихри с изнанки,
 вижу тучи над северным окоемом.
 У подъезда швейцар в голубом доломане охраны
 принимает взносы у смены ночной с поклоном.
 "Боже мой, — я думаю, — тут все еще Томаса Манна,
 Фитцджеральда, Арлена продолжается листописанье!"
 Трижды бармен осмотрит хрустальное донце стакана,
 ибо форма сосуда переходит в его содержанье.
 Что ж, вернуться за столик и пошарить в надорванной пачке,
 на которой грустит дромадер — тоже вестник востока?
 Что-то тошно, как бы в ожиданьи подачки,
 и отводишь глаза, потому-то и видишь высоко.
 В этом своде отеля, где мобили, дельфтские вазы,
 слышишь музыку Моцарта, смешанную с "Мицуки".
 И как дервиш чураешься сей обреченной заразы,
 как паломник к святыне протягиваешь руки.
 Видно, как побледнели привычные старые тени,
 обреченно и нагло подведенное сузилось око,
 слышно, как повторяет швейцар — шут и гностик — в смятенье:
 "Свет с Востока, с Востока, с Востока, с Востока..."

НОВЫЙ СИМВОЛИЗМ

Ночь уходит по серому серым,
погружаясь на лубное дно,
и апокалипсическим сверлом
залезая под утро в окно.
Здесь в Колхиде цветом сожаленья —
все, чем я заслониться могу,
если время наладит сцепленья
и меня перегонит в Москву.
И оттуда в подвал Петрограда,
в Комарово на берег пустой,
где меня не застанет награда
и не вычеркнет вечный покой.
И тогда в переулках Тишинки,
на каналах, в пустых берегах
я успею на ваши поминки
там, где розы и бредни и страх.
И тогда вы объявитесь снова
под мессинскую пылью своей —
Александра истошное слово
и твой бред необъятный, Андрей,
и твой русский анапест, Валерий,
и твой римский распад, Вячеслав,
тот французский раскат устарелый,
что тянулся, к Верлену припав.
Я — последнее слово в цепочке,
и в конце этой жизни пустой
вы теперь уже без проволочки
отпустите меня на покой.

В этот купол родной и знакомый,
где закат на заневских мостах,
я продена в петлицу законный
Мой цветок — это роза и страх.

ВОСПОМИНАНИЯ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СЕЛЕ

Где Петр собирал потешные полки,
Где управдом Хрущев унизил потолки,
В Преображенском я кончаю дни свои,
И никуда меня отсюда не зови.
Не будет ничего, не надо никогда,
Стоит перед окном апреля нагота,
У входа в магазин так развезло газон,
Когда я подхожу, знакомый фармазон
Спешит мне предложить вступить в триумvirат.
Выходит, надо жить, не стоит умирать.
Так сыро, так темно, так скоро жизнь прошла...
Когда случилось все, которого числа?
А свет под фонарем лупцует по глазам,
И поздно злобный вой отправить небесам.
Когда петровский флот со стапеля сходил,
И наливался плод от европейских жил,
Державин громоздил, а Батюшков хандрил,
Какой подземный ход тогда ты проходил?
Преображенец прав, а правнук так курнос,
И, верно, Летний сад за двести лет подрос.
От замка напрямик не разгадать Москвы
И не смягчить владык обиды и молвы,
Когда Ильич грузил в вагоны совнарком,
Когда Сергей завис в петле над коньяком,
Когда генсек звонил Борису вечерком,
Ты отвалил уже свой черноземный ком?
Над люлькою моей приплясывал террор,
Разбился и сторел люфтваффе метеор,

Скользил через мосты полуживой трамвай,
Шел от Пяти Углов на остров Голодай.
С площадки я глядел, как плавится закат —
Полнеба — гуталин, полнеба — Мамлакат,
Глухая синева, персидская сирень
И перелив Невы, вобравшей светотень.
Я на кольце сходил, где загнивал залив,
Где выплывал Кронштадт, протоку перекрыв,
И малокровный свет цедил Гиперборей,
Тянуло сквозняком от окон и дверей,
Прорубленных моей империей на вест,
Задраенных моей империей на весь
Мой беспробудный век. На мелководье спит,
Я видел, кит времен. Над ним Сатурн висит.
На бледных облаках тень тушью навела
Монгольскую орду и кровью провела
Кривой меридиан от рыла до хвоста...
Так, значит, все, что есть и было, — неспроста?
И леденел залив под утренней звездой,
И новый черновик засеял лист пустой,
И проступал на нем чертеж или чертог...
И кто-то мне сказал: "итак" или "итог".
Но я не разобрал, хотелось пить и спать,
Помалкивала сталь, и надо было ждать
На утреннем кольце. Ждать — это значит жить,
Представить, предсказать, прибавить, отложить...
Ты знаешь, но молчишь, — заговори, словарь.
Я сам себе никто, а ты всему главарь,
И ты, моя страна, меня не забывай,
На гиблом берегу — пришли за мной трамвай,
Квадригу, паровоз и, если надо, танк,
И двинем на авось с тобой, да будет так!
В Преображенском хлябь, размытая земля...
А ну, страна, ослабь воротничок Кремля.
Как дети, что растут в непоправимом сне,
Откроем мы глаза в совсем иной стране.
Там соберутся все, дай Бог, и стар и млад,
Румяная Москва и бледный Ленинград,
Князя Борис и Глеб, древлянин и помор,

Араб и печенег, балтийский военмор,
Что разогнал Сенат в семнадцатом году,
И преданный Кронштадт на погребальном льду.
Мы все тогда войдем под колокольный звон
В Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен!

ПРЕДСКАЗАНИЕ

ДЕЛЬТА

В столетнем парке, выходящем к морю,
Была береговая полоса
Запущена, загрязнена ужасно,
Во-первых, отмель состояла больше
Из ила, чем из гальки и песка,
А во-вторых, везде валялись доски,
И бакены измятые, и бревна,
И ящики, и прочие предметы
Неясных материалов и названий.
А в-третьих, ядовитая трава
Избрала родиной гнилую эту почву.
И видно, что неплохо ей жилось:
Такая спелая, высокая, тугая
И грязная, она плевала вслед
Какой-то слизью, если на нее
Вы неразборчиво у корня наступали.
В-четвертых же... но хватит, без четвертых.
Так вот сюда мы вышли ровно в час,
Час ночи бледно-серой над заливом,
В конце июля в тот холодный год,
Когда плащей мы летом не снимали.
Я помню время точно, потому что
Стемнело вдруг, как будто в сентябре.
Я поглядел на смутный циферблат
И убедился — час, и глянул в небо.
Оно закрылось необъятной тучей,
Столь равномерной, тихой и глубокой,

Что заменяла небосвод вполне.
И только вдалеке за островами,
За Невкой и Невой едва светился
Зубчатый электрический пожар.
Взлетела сумасшедшая ракета,
Малиновая, разбросалась прахом,
Погасла, зашипела. И тогда
Я спутницы своей лицо увидел
Совсем особо, так уж никогда,
Ни раньше, и ни позже не случилось.
Мы были с ней знакомы год почти
И ладили зимою и весною,
А летом что-то изводило нас.
Что именно? Неправда, пустозвонство
Паршивых обещаний и признаний
За рюмочкой, игра под одеялом,
Растрепанная утренняя спешка,
И все такое. Вышел, значит, срок.
И значит, ничего нам не осталось.
Мы знали это оба. Но она,
Конечно, знала лучше, знала раньше.
А мне всего лишь представлялся год
Душистой лентой нежной женской кожи.
Начало ленты склеено с концом,
И незачем кольцо крутить по новой.
Но я хотел бы повернуть к ракете
Малиновой, взлетевшей над заливом.
Красный блеск лишь на минуту
Осенил пространство, и я заметил все:
Ее лицо, персидские эмалевые губы,
Широкий носик, плоские глазницы
И темно-темно-темно-синий взгляд,
Который в этом красном освещенье
Мне показался не людским каким-то...
Прямой пробор, деливший половины
Чернейших, лакированных волос,
Порочно и расчетливо сплетенных косичками
Я что-то ей сказал. Она молчала.
— Ну, что же ты молчишь? — Так, ничего, —

Она всегда молчала. Конечно, не всегда.
Но всякий раз, когда я ждал ответа,
Пустячной шутки, вздора и скандала, —
Она молчала. Боже, боже мой,
Какая власть была в ее молчанье,
Какое допотопное презренье
К словам и обстоятельствам. Она
Училась даже в некоем институте
И щеголяла то стишком, то ссылкой
На умные цитаты. Но я отлично понимал:
Каким-то чудом десять тысяч лет
Словесности, культуры, рефлексии
Ее особы даже не коснулись.
И может, только клинописью или
Халдейскими какими письменами
В библейской тьме, в обломках Гильгамеша
Очерчен этот идеальный тип
Презрительной и преданной рабыни.
Но преданной чему? Служить, гадать
Но голосу, по тени в зрачках, по холоду руки,
Знать наперед, что ты еще не знаешь.
Готовой быть на муку, на обиду
И все такое ради самой бедной,
А может, и единственно великой
Надежды, что в конце концов она
Одна и нету ей замены.
А прочее каприз и ностальгия...
И все же презирающей тебя за все,
Что непонятно ей, за все,
Что ни оскал, ни власть, ни страсть,
Ну и так далее...
Я как-то заглянул в наполовину
Книжный, наполовину бельевой комод —
Вот полочка: стишки и детективы,
Два номера "Руна" и "Аполлона",
"Плейбой" и "Новый мир" и Баратынский,
Тетради с выписками, все полупустые,
Пакеты от колготок, прочий хлам,
Измятая Махаева гравюра

(Конечно, копия) "Эскадра на Неве",
 Слепая "Кама-сутра" на машинке
 И от косметики бесчисленные гильзы,
 Весь набор полинезийского, парижского дикарства.
 Не знаю — капля ли восточной крови,
 Виток биологический в глубины дикарские?
 А может, что иное? Как применялась
 К нашей тихой жизни, как понимала,
 Что она неопенима? И в лучшие минуты
 В ней сквозили обломки критских ваз,
 Помпейских поз, того, что греки знали
 Да забыли, что вышло из прапамяти земли,
 Из жутких плотоядных мифологий, из лепета
 И силы божества, смешавшего по равной доле
 Сладчайшей жизни и сладчайшей смерти, —
 Того, что может плоть, все заменяя —
 Дух и сознание, когда она еще не растлена,
 Не заперта в гареме и подвале,
 А есть опора тайны и искусства,
 И ремесла и вдаль бегущих дней.
 Отсюда, верно, и пошла душа...
 А через час была еще ракета,
 Зеленая. Должно быть, забавлялись
 В яхт-клубе, что на стрелке, в самой дельте.
 И вот подул гольфстрим воздушный,
 Распалась туча, и стало,
 Как положено, светло в такую ночь.
 Мы все еще сидели на скомканных плащах
 Среди всего, что намывают море и река,
 И молчаливая молочная волна
 Подкатывалась, шепелявя пеной.
 Проплыл речной трамвай, за ним байдарка,
 Две яхты вышли — "звездный" и "дракон"¹, —
 Залив зарозовел, и день настал.
 Проехало такси по пляжу, колеса увязали,
 Интуристы подвыпившие подкатали скопом,

¹ Типы яхт.

Держа за горлышко священные сосуды
С "Московской" и "Шампанским", загалдели.
— Нам в центр, водитель. До Пяти Углов.
Прощай, до смерти не забыть тебя,
Как жаль, что я не Ксеркс и не Аттила,
И даже не пастуший царь, что взял бы
Тебя с собой.
Прощай, конец,
Но помню, помню, помню,
Как вечно помнит жертвенник холодный
Про кровь и пламя, копоть, жир, вино,
Про укус, мякоть и руно, про ярость
И силу и последний пир...
Уже остывший круглый камень,
На котором ютились духи ночи до утра.

1976

АЛМАЗЫ НАВСЕГДА

Н.

Я двадцать лет с ним прожил через стенку
в одной квартире около Фонтанки,
за Чернышевым башенным мостом.

Он умер утром, первого числа...

Еще гремели трубы новогодья,
последнее шампанское сливалось
с портвейном в измазанных стаканах,
кто полупил, кто полуспал, кто тяжело
тащился по истоптанному снегу...

А я был дома, чай на кухне пил —
и крик услышал, и вбежал к соседу.

Вдова кричала... Мой сосед лежал
на вычурной продавленной кровати
в изношенной хорьковой телогрейке
и, мертвый, от меня не отводил
запавшие и ясные глаза...

Он звался Александр Кузьмич Григорьев.

Он прожил ровно девяносто два.

А накануне я с ним говорил,
на столике стоял граненый штофчик,
и паюсной икры ломоть на блюде,
и рыночный соленый огурец.

Но ни к чему сосед не прикоснулся.

”Глядеть приятно, кушать — не хочу, —
сказал он мне. — Я, Женя, умираю,
но эту ночь еще переживу”.

”Да что вы, что вы! — закричал я пошло. —

Еще вам жить да жить, никто не знает...”

”Да тут секрета нет, в мои года”, —

ответил он, ко мне придвинул рюмку...

Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
и были мы не меньше чем родня.

Он жил в огромной полутемной зале,
заваленной, заставленной, нечистой,
где тысячи вещей изображали
ту Атлантиду, что ушла на дно.

Часы каретные,

настольные,

стенные,

ампирные литые самовары,
кустарные шкатулки, сувениры
из Порт-Артура, Лондона, Варшавы
и прочее. К чему перечислять?

Но это составляло маскировку,
а главное лежало где-то рядом,
запрятанное в барахло и тряпки
на дне скалоподобных сундуков.
Григорьев был брильянтщиком —
я знал давно все это. Впрочем,
сам Григорьев и не скрывался —
в этом вся загадка...

Он тридцать лет оценщиком служил
в ломбарде, а когда-то даже
для Фаберже оценивал он камни.

Он говорил, что было их четыре
на всю Россию: двое в Петербурге,
один в Москве, еще один в Одессе...

Учился он брильянтовому делу
когда-то в Лондоне, еще мальчишкой,
потом шесть лет в Москве у Костюкова,
потом в придворном ведомстве служил —
способности и рвенье проявил,
когда короновали Николая
(какие-то особенные броши
заказывал для царского семейства),
был награжден он скромным орденом...

В столицу перевелся, там остался...
 Когда же его империя на дно переместилась,
 пошел в ломбард и службы не менял.
 Но я его застал уже без дела,
 вернее, без казенных обстоятельств,
 поскольку дело было у него.
 Но что за дело, мудрено понять.
 Он редко выходил из помещенья,
 зато к нему все время приходили,
 бывало, что и ночью, и под утро,
 и был звонок условный (я заметил):
 один короткий и четыре длинных.
 Случалось, двери открывал и я,
 но гости проходили как-то боком
 по голому кривому коридору,
 и хрена ли поймешь, кто это был:
 то оборванец в ватнике пятнистом,
 то господин в калошах и пальто
 доисторическом, с воротником бобровым,
 то дамочка в каракулях, то чудный
 грузинский денди... Был еще один,
 пожалуй, чаще прочих он являлся.
 Лет сорока пяти, толстяк, заплывший
 ветчинным нежным жиром, в мягкой шляпе,
 в реглане, с тростью. Беяло за ним
 неслыханным чужим одеколоном,
 некуренным приятным табаком.
 Его встречал Григорьев на пороге
 и величал учтиво: "Соломон Абрамович..."
 И гость по-петербургски раскланивался
 и ругал погоду...

Бывал еще один:
 в плаще китайском, в начищенных ботинках,
 черной кепке, в зубах окурок "Беломора",
 щербатое лицо, одеколон "Гвардейский".
 Григорьев скромно помогал ему раздеться,
 заваривал особо крепкий чай...
 Был случай лет за пять до этой ночи:
 жену его отправили в больницу,

вдвоем остались мы. Он попросил купить ему еды и так сказал:
 "Зайдешь сначала, Женя, к Соловьеву¹, потом на угол в рыбный, а потом в подвал на Колокольной. Скажешь так: "Поклон от Кузьмича". Ты не забудешь?" — "Нет, не забуду".

Был я поражен.

Везде я был таким желанным гостем, мне выдали икру и лососину, салями и охотничьи сосиски, телятину парную, сыр "Рокфор", мне выдали кагор "Александрит", который я потом нигде не видел, и низкую квадратную бутылку "Рябина с коньяком", и чай китайский... Все это так приветливо, так быстро, и приговаривали: "Вот уж повезло — жить с Кузьмичом... Поймите, что такое, старик великий, да, старик достойный... Уж вы похлопочите, а за ним уж не заржавеет..." О чем они? Не очень я понимал... Он сам собрал на стол на нашей кухне, поставил он поповские тарелки, приборы хлебникова серебра... (Он кое-что мне объяснил, и я немного разобрался, что почем тут.) Мы выпили по рюмочке кагора, потом "рябиновки" и закусили... Я закурил, он все меня корил за сигареты: "Вот табак не нужен. Уж лучше выпивайте, дорогой". Был летний лиловатый нежный вечер, на кухне нашей стало темновато, но свет мы почему-то не включали... "Вы знаете ли... — Он всегда сбивался, то "ты", то "вы", но в этот раз на "вы". —

¹ Герой называет гастроном по имени его бывшего владельца.

...Вы знаете ли, долго я живу,
я помню Александра в кирасирском
полковничьем мундире, помню Витте —
оценивал он камни у меня.
Я был на коронации в Москве,
я был в Мукдене по делам особым,
и в Порт-Артуре, и в Китае жил...
Девятое в помню января,
я был знаком с Гапоном, так, немного...
Мой брат погиб на крейсере "Русалка".
Он плавал корабельным инженером,
мой младший брат, гимназию он кончил,
а я вот нет — не мог отец осилить,
чтоб двое мы учились. А когда-то
Викторию я видел, королеву,
тогда мне было девятнадцать лет.
В тот год, вот благородное вам слово,
я сам держал в руках Эксцельсиор...¹
Так я о чем? В двадцать шестом году
я был богат, имел свой магазинчик
на Каменноостровском, там теперь химчистка,
и даже стойка та же сохранилась —
из дерева мореного я заказал ее,
и сносу ей вовек не будет...
В тридцать втором я в Смольном побывал.
Сергей Мироныч вызывал меня,
хотел он сделать женщине подарок...
Вникал я в государственное дело...
Куда все делось? Был налажен мир,
он был устроен до чего толково,
держался на серьезных людях он,
и не было халтуры этой... Впрочем,
я понимаю, всем не угодишь,
на всех все не разделишь, а брильянтов —
хороших, чистых, — их не так уж много.
А есть такие люди — им стекляшка
куда сподручней... Я не обижаюсь,

¹ Один из самых больших и знаменитых алмазов мира.

я был всегда при деле. Я служил.
 В блокаду даже. Знаете ль, в блокаду
 ценились лишь брильянты да еда.
 Тогда открылись многие караты...
 В сорок втором я видел эти броши,
 которые мы делали в десятом
 к романовскому юбилею.

Так-с!

Хотите ли, дружок, прекраснейшие запонки,
 работы французской, лет, наверно, сто им...
 Я мог бы вам их подарить, конечно,
 но есть один закон — дарить нельзя.
 Вы заплатите сорок пять рублей.
 Помяните потом-то старика...”
 Я двадцать лет с ним прожил через стенку,
 стена, нас разделявшая, как раз
 была не слишком, в общем, капитальной —
 я слышал иногда обрывки фраз...
 Однажды осенью, глухой и дикой,
 какой бывает осень в Ленинграде,
 явился за полночь тот самый, с тростью,
 ну, Соломон Абрамыч, и Григорьев
 его немедленно увел к себе.
 И вдруг я понял, что у нас в квартире
 еще один таится человек.
 Он прячется, наверное, в чулане,
 который был во время оно ванной,
 но в годы пятилеток и сражений
 заглох и совершенно пустовал.
 Мне стало жутко, вышел я на кухню
 и тут на подоконнике увидел
 изношенную кепку из букле.
 Тогда я догадался и вернулся
 и вдруг услышал, как кричит Григорьев,
 за двадцать лет впервые он кричал:
 ”Где эти камни? Мы вам поручали...”
 И дальше все заглохло, и немедля
 загрохотал под окнами мотор.
 Вдруг появилась женщина без шубы;

та самая, что в шубке приходила,
она вбежала в комнату соседа,
и что-то там немедля повалилось,
и кто-то коридором пробежал,
подковками царапая паркет,
и быстро все они прошли обратно.
Я поглядел в окно, там у подъезда
качался стосвечовый огонек
дворовой лампочки. Я видел, как отъехал
полузаметный мокренький "Москвич",
куда толстяк вползал по сантиметру...
Вы думаете, он пропал?

Нисколько.

Он снова появился через год.

.
И вот в Преображенском отпеванье.
И я в морозный лоб его целую
на Сестрорецком кладбище. Поминки.
Пришлось побывать мне на поминках,
но эти не забуду никогда.
Здесь было не по-русски тихо,
по-лютерански трезво и толково,
хотя в достатке крепкие напитки
собрались на столе.

Среди закусок
лежал лиловый плюшевый альбом —
любил покойник, видимо, сниматься.
На твердых паспарту мерцали снимки,
картинки Петербурга и Варшавы,
квадратики советских документов...
Здесь был Григорьев в бальной фракционной паре,
здесь был Григорьев в полевой шинели,
здесь был Григорьев в кимоно с павлином,
здесь был Григорьев в цирковом трико...
Вот понемногу стали расходиться,
и я один, должно быть, захмелел,
поцеловал вдове тогда я руку,
ушел к себе и попросил жену
покрепче приготовить мне чайку.

Я вспомнил вдруг, что накануне этих событий забежал ко мне приятель, принес журнал с сенсацией московской, я в кресло сел, и отхлебнул заварки, и развернул ту дьявольскую книгу, и напролет всю ночь ее читал... Жена спала, и я завесил лампу, жена во сне тревожно бормотала какие-то обрывки и обмолвки, и что-то по-английски, ведь она язык учила где-то под гипнозом... И вот под утро он вошел ко мне, покойный Александр Кузьмич Григорьев, но выглядел иначе, чем всегда. На нем был бальный фрак, цветок в петлице, скрипел он лаковыми башмаками, несло каким-то соусом загробным и острыми бордельными духами. И он спросил: "Ты понял?" Повторил: "Теперь ты понял? — "Да, теперь, конечно, теперь уж было бы, наверно, глупо вас не понять. Но что же будет дальше? И вы не знаете? — "Конечно, знаю, подумаешь, бином Ньютона тоже!" — "Так подскажите малость, что-нибудь!" — "Нельзя подарков делать, понимаешь? Подарки — этикетки от нарзана. Ты сам подумай, только не страшись". Жена проснулась и заснула снова, прошел по подоконнику дворовый, немного мной прикармливаемый кот, он лапой постучал в стекло, но так и не дождался подаянья, и умный зверь немедленно ушел. Тогда я понял: все произошло, все было и уже сварилась каша, осталось расхлебать все, что я сунул в измятый кособокий котелок.

и галстук затянул двойным узлом...
Когда я вышел, было очень пусто,
все разошлись с попоек новогодних
и спали пьяным сном в своих постелях,
в чужих постелях,

на вагонных полках,
в подъездах и отелях, и тогда
Григорьева я вспомнил поговорку.
Сто лет назад услышал он ее,
когда у Оппенгеймера в конторе
учился он брильянтовому делу.
О, эта поговорка ювелиров,
брильянтиков, предателей,
убийц из-за угла и шлюх шикарных:
"Нет ничего на черном белом свете.
Алмазы есть. Алмазы навсегда!"

1984

ВТОРОЕ МАЯ

Памяти Ильи Авербаха

В такой же точно день — второе мая —
 Идти нам было некуда,
 А надо куда-нибудь пойти.
 И мы пошли с Литейного
 Через мосты и мимо мечети
 Туда, где в сердцевине петроградской
 Жил наш приятель.
 Он не очень ждал нас.
 Но ежели пришли — пришли,
 И были мы позваны к столу.
 Бутылку водки принесли с собой
 И в старое зеленое стекло —
 Осколки от дворянского сервиза —
 Ее разлили.

Ты — второе мая, —
 Лиловый день, похмелье,
 Что ты значишь?
 Какие-то языческие игры,
 Остатки пасхи, черно-красный стяг
 Бакунина и Маркса, что окрашен
 В крови и саже у чикагских скотобоен,
 И просто выходной советский день
 С портретами заместников, похожих
 На иллюстрации к брюзжанью Салтыкова.
 По косвенным причинам вспоминаю,
 Что это было в шестьдесят восьмом.
 Мы оба, я и мой приятель,

А может быть, наоборот —
 Скорее все-таки наоборот,
 Стояли, я сказал бы, на площадке
 Между вторым и первым этажом
 Официально-социальных маршей
 Той лестницы, что выстроена круто
 И поднимается к неясному мерцанию
 Каких-то позолоченных значков.
 Быть может,

ГТО на той ступени,
 Где не нужны уже ни труд, ни оборона...
 Приятель наш был человеком дела.
 Талантом, умником и чемпионом
 Совсем еще недавних институтов.
 Он на глазах переломил судьбу,
 Стал кинорежиссером — и заправским,
 И снял свой первый настоящий фильм.
 (И мы в кино свои рубли сшибали
 В каких-то хрониках и "научпопах".)
 Но он-то снял совсем-совсем другое,
 Такое, как Тарковский и Висконти,
 Такое же, для тех же фестивалей,
 Таких же смокингов и пальмовых ветвей.
 Ах, пальмовые ветви, нет, недаром
 Вы сразу значитесь по ведомствам обоим —
 Экран и саван. Может, вы родня?
 И вот сидели вы второго мая
 И слушали, как кинорежиссер
 Рассказывал о Кафке и буддизме,
 Марлоне Брандо, Саше Пятигорском,
 Боксере Флойде Патерсоне, об
 Экранизации булгаковских романов,
 Москве кипящей, сумасбродной Польше,
 Где он уже с картиной побывал.
 И это было все второго мая...
 ...Второго мая я сижу один
 В Москве, уже давно перекипевшей
 И снова закипающей и снова...
 Что снова? Сам не знаю. Двадцать лет

На этой кухне выкипели в воздух.
 Я думаю — и ты сидишь один
 В своей двухкомнатной квартирке над Гудзоном,
 Который будто бы на этом месте,
 Коли отрезать слева вид и справа,
 Неву у Смольного напоминает,
 Но это и немало — у меня
 Все виды одинаковы, все виды.
 Есть вид на жительство, и больше ничего.
 Там, в этом баскетболе небоскребов,
 Играешь ты за первую команду,
 Десяток суперпрофессионалов,
 Которые давно переиграли
 Своих собратий и теперь остались
 Под ослепительным оскалом
 Всесветского ристалища словес.
 И где-нибудь на розовом атолле
 Сидит кудрявый быстрый переводчик —
 Не каннибал в четвертом поколеньи —
 И переводит с рифмой и размером
 Тебя на узелковое письмо. И это —
 Финишная ленточка, поскольку
 Все остальное ты уже прошел.
 Ну что, дружок, еще случится с нами?
 Лишь суесловие да предисловья.
 А вот с хозяином квартиры петроградской
 И этого не будет.
 А он стоял в огромном павильоне,
 И скрученное кинолентой время
 Спеша входило, как статист на съемку
 Стрекочущего многокрыльем фильма,
 Да вдруг оборвалось...
 ...Второго мая
 Мы все сидим в удобных одиночках
 Без жен, которых мы беспечно растеряли,
 И без детей, должно быть затаивших
 Эдипов комплекс, вялый и нелепый,
 Как всё вокруг. И наша жизнь не в том...
 А в том — за двадцать лет

Мы заслужили такую муку,
Что уже не можем пойти втроем
По Петроградской мимо
"Ленфильма", и кронверка,
И стены апостолов Петра и Павла,
Мимо мечети Всемогущего и мимо
Большого дома "Политкаторжан",
Откуда старики "Народной воли"
Народной волей вволю любовались.
Мимо еще чего-то, мимо, мимо, мимо...
Вот так проводим мы второе мая.

1982

НЯНЯ ТАНЯ

*...я высосал мучительное право
тебя любить и проклинать тебя.*

В. Ходасевич

Хоронят няню. Бедный храм сусальный
в поселке Вырица. Как говорится, лепость —
картинки про Христа и Магдалину —
эль фреско по фанере. Летний день.
Не то что летний — теплый. Бабье лето.
Начало сентября...

В гробу лежит
Татьяна Саввишна Антонова — она,
моя единственная няня, няня Таня...
приехала в тридцатом из деревни,
поскольку год назад ее сословье
на чурки распилили и сожгли,
а пепел вывезли на дикий Север.
Не знаю, чем ее семья владела,
но, кажется, и лавкой, и землей,
и батраки бывали...

Словом, это
типичное кулачество. Я сам,
введенный в классовое понимание
в четвертом классе, понимал, что это
есть историческая неизбежность
и справедливо в Самом Высшем Смысле:
где рубят лес, там щепочки летят...
Она работала двадцать четыре года
у нас. Она четыре года
служила до меня у папы с мамой...
А я уже студентик техноложки.

Мне двадцать лет, в руках горит свеча.
Потом прощанье. Мелкий гроб наряден.
На лбу у няни белая бумажка,
и надо мне ее поцеловать.
И я целую. ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ!
И тихим-тихим полулетним днем
идут на кладбище четыре человека:
я, мама, нянина подруга Нюра
и нянин брат двоюродный Сергей.
У няни нет прямых ветвей и сучьев,
поскольку все обрублены. Ее
законный муж — строитель Беломора —
погиб от невнимательной работы
с зарядом динамита. Старший сын
расстрелян посреди годов двадцатых
за бандитизм. Он вышел с топором
на инкассатора, убил, забрал кошелку
с деньгами, прятался в Москве
на Красной Пресне. Пойман и расстрелян.
И даже фотокарточки его
у няни почему-то не осталось.
Другое дело младший — Тимофей, —
он был любимцем и примерным сыном.
И даже я сквозь темноту рассудка
в начале памяти могу его припомнить.
Он приезжал и спал у нас на кухне,
матросом плавал на речных судах.
Потом война...

Война его и няню
застала летом в родовой деревне
в Смоленской области.
Подробностей не знаю.
Но Тимофей возил в леса муку,
и партизаны этим хлебом жили.
А старший нянин брат родной Иван
был старостой села.
Он выдал Тимофея, сам отвез
за двадцать километров в полевую
полицию, и Тимофея там

без лишних разговоров расстреляли...
 А в сорок третьем няню увезли
 куда-то под Эйлау, в плен германский.
 Она работала в коровнике (она
 и раньше о своих коровах,
 отобранных для общей пользы,
 часто вспоминала).

А дочь единственная няни Тани
 и внучка Валечка лежат на Пискаревском,
 поскольку оставались в Ленинграде:
 зима сорок второго — вот и все...
 Что помню я? Огромную квартиру
 на берегу Фонтанки — три окна
 зеркальные, Юсуповский дворец
 (не главный, что на Мойке,
 а другой), стоявший в этих окнах,
 няню Таню...

А я был болен бронхиальной астмой.
 Кто знает, что это такое? Только мы —
 астматики. Она есть смерть внутри,
 отсутствие дыхания. Вот так-то!

О, как она меня жалела, как
 металась. Начинался приступ,
 я задыхался, кашлял и сипел,
 слюна вожжой бежала на подушку...

Сидела няня, не смыкая глаз,
 и ночь, и две, и три,
 и сколько надо, меняла мне
 горчичники, носила горшки
 и смоченные полотенца.

Раскуривала трубку с астматолом,
 и плакала, и что-то говорила.
 Молилась на иконку Николая
 из Мир Ликийских — чудотворец он.

.
 И вот она лежит внизу, в могиле, —
 а я стою на краешке земли.

Что ж, няня Таня?

Няня, ДО СВИДАНИЯ. УВИДИМСЯ.

Я все тебе скажу.

Что ты была права, что ты меня
 всему для этой жизни обучила:
 во-первых, долгой памяти,
 а во-вторых,

терпению и русскому беспутству,
 что для еврея явно высший балл.
 Поскольку Розанов давно заметил,
 как наши крови — молоко с водой —
 неразделимо могут совмещаться...

.
 Лет десять будет крест стоять
 как раз у самой кромки кладбища,
 последний в своем ряду.

Потом уеду я в Москву и на Камчатку,
 в Узбекистан, Прибалтику, Одессу.
 Когда вернусь, то не найду креста.

.
 Но все это потом. А в этот день
 стоит сентябрьский перегар
 и пахнет пылью и яблоками,
 краской от оград кладбищенских.

И нам пора. У всех свои дела,
 и незачем устраивать поминок.

На электричке мы спешим назад
 из Вырицы в имперскую столицу,
 где двести лет российская корона
 пугала мир, где ныне областной
 провинциальный город.

Мне пора на лекции, а прочим на работу.
 ТАК, ДО СВИДАНИЯ, НЯНЯ. Спи пока.

Луи Армстронг, архангел чернокожий,
 не заиграл побудку над землею
 американской, русской и еврейской...

МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ

Иосифу Бродскому

Вступление I СТАРЫЙ КИНЕМАТОГРАФ

Старый кинематограф —
новый иллюзион.
Сколько теней загробных
мне повидать резон!
Это вот — Хамфри Богарт¹
пал головой в салат.
Только не надо трогать,
ибо в салате яд!
Вот голубая Бергман²
черный наводит ствол.
Господи, не отвергнем
женственный произвол.
Жречеству, парабеллум,
царствуй вовеки — кольт!
Грянь-ка, по оробелым,
выстрел в миллионы вольт!
Ты же хватай, счастливец,
праведное добро.
Кто там снимает лифчик?
То — Мэрилин Монро!³
В старом и тесном зале,
глядя куда-то вбок,
это вы мне сказали:
”Смерть или кошелек!”

Дойдет и до пятидесятих,
 запрячется,
 что вор в законе,
 и в этих клифтах полосатых
 "ТТ" на взводе при патроне.
 Они в пивных играют "Мурку",
 пластинки крутит им Утесов,
 ползет помада по окурку
 их темных дам светловолосых.
 Перегидрольные блондинки
 сидят в китайском креп-жоржете,
 им нету ни одной заминки
 на том или на этом свете.
 Вот в ресторане на вокзале
 кромешный крик, летит посуда,
 бандитка с ясными глазами
 бежит,
 бежит,
 бежит оттуда
 и прячет в сумку полевую
 трофейный верный парабеллум,
 ее, такую боевую,
 не схватишь черную на белом.
 И это все со мной случилось
 и лишь потом во мне очнулось,
 в какой-то бурый дым склубилось
 и сорок лет спустя вернулось.
 Я вижу лестницу витую
 на Витебском и Царскосельском.
 Не по тебе одной тоскую —
 еще живу в том свете резком.

Вступ ление III

ПОЛЧАСА ДО ТЕМНОТЫ

Полчаса до темноты —
 вот теперь давай на "ты"!
 Щекоти намokшим мехом

в полусвете полудня.
 Я пошарю по прорехам,
 не отталкивай меня.
 Здесь под балкой потолочной
 темный царствует ремонт,
 мимо нас туман проточный
 проскользнул за Геллеспонт.
 Если будем вечно живы,
 то отправимся в Стамбул.
 Там оливы

и проливы —
 сокол их перепорхнул.
 В голубой весенней юбке
 ты закажешь коньяка,
 все туманные поступки
 проясняются слегка.
 И тогда под минаретом
 мы припомним этот день,
 ежели тебе при этом
 будет вспоминать не лень
 той разрухи капитальной
 коммунальный коридор,
 поцелуй,
 почти опальный,
 и укромный разговор.
 Как с тобой легко и жутко,
 что ж ты смотришь сверху вниз?
 Поднеси поближе шубку,
 расстегнись
 и отвернись.

ТРИНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Я долго прожил за "Аттракционом"
 в Четвертом Барыковском переулке
 в Замоскворечье возле Пятой ТЭЦ.
 Что значит долго? Просто девять лет.
 И вот пошли отчаянные слухи,

что дом наш непременно забирают
 под неопределенную контору.
 Никто не верил. Вышло — точно так!
 Я переехал и забыл про это.
 Так что хочу тебе я рассказать?
 Что кто-то там ведет свою таблицу
 коварного слепого умноженья
 и шулерски стасовывает карты,
 чтобы потом подкинуть их в игру,
 и, выиграв, заливисто хохочет.
 Вот и сегодня, о, совсем случайно,
 я позвонил тебе после полудня
 и предложил пойти куда угодно
 часа в четыре,

а куда пойдешь?

Туман и мокрый снег Москву накрыли,
 так отвратительно печальны рестораны,
 где туго с водкой, круто с коньяком.
 А выставки? Что надо — мы видали,
 а прочее и видеть не хотим.

Пойдем в кино? Конечно! А куда же!
 Там хорошо, там пряники в буфете,
 разбавленный, слегка прокисший сок.
 Тогда уж встретимся в "Аттракционе",
 днем там пустыня, вот и хорошо.
 — Ты видел этот фильм? — спросила ты.
 — Да, видел, — я ответил, — но не стану
 разоблачать сюжет, погибнет тайна,
 словечко лишнее — и кончен интерес.

А впрочем: чушь, великие актеры,
 да и кино... там не в сюжете суть.

А что касается меня,

я так люблю

Америку годов пятидесятых, сороковых —
 мужчины в темных шляпах,
 двубортные костюмы, "кадиллаки",
 тяжелые, что ступки, телефоны,
 ковры, отели, гангстеры с кобурой
 под левой мышкой — что за красота!

И некто там надиктовал на пленку
за десять дней почти полсотни сказок,
где воевали мыши да ужи.
(Импровизатор — он был враг бумаги.)
”Уж — это гад ветхозаветный, явно,
но зашифрованный в дошкольном варианте”, —
заметил теоретик Тимофеев.
Но, кажется, совсем не угадал —
тот до сих пор живет на эти сказки...
Уж там, уж сям, уже ужи в балете,
уже ужи на кинофестивале,
и даже он на форуме всемирном
был удостоен Третьего Ужа,
поскольку Первый и Второй достались
какому-то ужасному акыну,
но в этом наш ужист не виноват.
Бывали, там дельцы и дипломаты,
посланцы азиатских территорий
(что лопотали по своим делам).
Считалось шиком ящик коньяка
втащить туда по лестнице щербатой,
и потому полно девиц умелых
и дошлых дам к Викентию ходило...
Там жил и я, глядел кино и басни
рассказывал в распаренном застолье,
крутили эти фильмы день и ночь...
Но Чаплин — что ж! Он — классика, а этот —
”Мальтийский сокол” — рядовой шедевр.
Но почему-то он запал мне в душу,
и полистал я старые книжонки
и раскопал, откуда все пошло.
Гроссмейстер Ордена Мальтийского когда-то
в знак преданности в Рим отправил Папе
фигурку птицы, ясно, золотую.
Но в золоте ли дело? Дело в том,
что в это золото оправили такие
рубины, изумруды и алмазы,
что даже Папа ахнул, прочитав
письмо Гроссмейстера (пергамент сохранился).

Но птица до святейшего престола
не долетела. — Но была она на самом деле?
— Да была. Была! Я думаю, Гроссмейстер
не стал бы Рим дурить.

И все, что он писал про эти камни,
все было правдой. И к тому же
мальтийский адмирал признался,
что выкупил себя и всю команду
вот этим соколом, когда его эскадра
(три корабля) попала к туркам в плен.

Но все это историкам известно,
а дальше романист присочинил,
что, дескать, объявился он в России,
добрался до Орлова Алексея...

В романе сказано, что правнук Алексея,
а вместе с ним и сокол объявились
в Крыму при Врангеле, потом Стамбул,
Париж... Об этом и провела компашка
авантюристов, рыскавших по свету,
ну, предыстория была им безразлична,
но сокола они добыть решили
и переправить через океан.

Тут, может, я сбиваюсь, так давно
я все это увидел, и время действия,
быть может, сорок первый иль
около, когда союзники

среди нормандских пляжей
сто тысяч положили под стволы
немецких раскаленных пулеметов,
гораздо раньше, чем Георгий Жуков
пробился к райху и занес приклад
над головой с непобедимой челкой.

Тогда-то вот в Нью-Йорке частный сыщик
(играет Богарт) предложил клиентке
прекрасной, словно ангелы распутства,
свои услуги (это — Ингрид Бергман).
Клиентка молча выписала чек,
и дело завертелось...

Вроде кто-то ее преследовал.

И в этот самый день, вернее, вечер
 помощник детектива был застрелен
 в густом тумане около реки.

Полиция решила — это сыщик убрал собрата,
 но сыщик никого не убивал.

Его подставила и чуть не погубила
 та самая клиентка. Вот она
 как раз охотилась за соколом мальтийским,
 и этот сыщик стал ей поперек. Случайно —
 он и сам не знал об этом.

Запутанный сюжет, потом поймешь.

Кончай свой кофе, закрывают зал,
 не то мы опоздаем...

.
 Здесь пропускаю ровно два часа...

.
 Стемнело, а туман еще сгустился.

— Пойдем подышим сумрачным предзимьем
 и, кстати, посетим мой переулок,
 тот самый, тот, Четвертый Барыковский,
 я не бывал здесь года полтора.

Вот церковь обойдем, и сразу будет
 тот дом, где бедовал я девять лет.

Ну что, кино понравилось? — Да, очень!

— Ты понимаешь, это сказка,
 особенно для нас, Шехерезада,
 но что-то бродит в ней на самом дне,
 какой-то образ, символ и намек...

— Ты объясни — какой?..

— Ты помнишь кадр: помощник детектива
 в тумане ждет кого-то... Мы понимаем
 по его лицу, что этот человек ему знаком
 и он не опасается его.

Но главное —
 туман, густой туман и люди — точно
 рыбы через воду...

Вот крупное лицо усталой жертвы
 в намокшем барсалино набекрень.

И вдруг мы видим, как в туман вползает

неотвратимо ясный револьверчик...

...И покатилося барсалино быстро
в тумане роковом, потом пропало...

— Я поняла тебя. Да, это главное,
здесь ось, вокруг нее
и вертится вся лента...

— Постой, а где же мой старинный дом?
Дом был на месте, только на ремонте.

— Пойдем посмотрим, что там натворили.

— Пойдем посмотрим... Вроде повезло,
не слишком дело двинулось у них,
еще не сломаны полы и перекрытья,
и двери не забиты... Так зайдем же...

— Зайдем, зайдем... — А вот моя квартира
на семь жильцов, теперь она пустует,
вот комната на первом этаже.

А под окном стоял жасмин могучий,
и был он украшеньем бедной жизни
все девять лет.

Жасмин они срубили.

Ремонт, неразбериха, переделка.

Паркета нет, но есть еще обои

и крюк с лепниной, на котором долго
покачивался абажур — его я перевез
из Ленинграда, из довоенных лет,

он видел маму и отца, убитого под Нарвой,
блокаду выдержал... Так, не споткнись,
я спичкой посвечу. Ты не находишь,
что-то есть такое,

задуманное на далеком небе,

что мы попали в эту вот квартиру,
разбитую туманную пещеру?

— Конечно, нахожу. Но так бывает
всегда, *они* следят за нами,
и подбирают крап на узких картах,
и мечут без ошибок их на стол.

— Теперь послушай: я люблю тебя,
люблю давно, с той самой глупой встречи,
в том суетливом тягостном дому.

Ты знаешь ведь, что я в виду имею?

— Конечно, знаю...

— Я глядел, глядел и отводил глаза...

— А было все нестрашно...

— Я думаю, что было все непросто.

— Ну, это чепуха, твои химеры!

— Химеры-то как раз не чепуха,
как налетят, как на постель присядут
и все лопочут: ша-ша-ша-ша-ша-ша!

— Но что-то есть полезное в химерах,
видать, они в свойстве с мальтийской птицей,
они, быть может, и накликали ее?

— Пожалуй, слишком просто...

— Слишком сложно...

— Пойди сюда, сними свою шубейку,
тут был крючок на стенке,
вот он, цел! Смотри, какой туман,
как фонари сюда плывут пустым жемчужным светом,
как бродят тени плавниками
зелеными на этом потолке...

— Что будем делать?

— Будем жить, как прежде,
ну, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть иначе.
Большие перемены ни к чему.

— Нас не запрут в твоём фамильном склепе?
Там кто-то бродит под дверьми и как-то
металлом угрожающе звенит.

— Да нет, пустое, это слесарь или
ремонтник что-то подбирает,
снесет народу и стакан получит
свежайшего родного самогона.

— Как сыро, я бы выпила глоток...

— Нет ничего. Вот только сигареты.

— Я не курю... —

Мы вышли на бульвар, и я подумал:
два сеанса птицы
отрезали от жизни двадцать лет...

И был еще один туманный день когда-то...
Стоял я около реки Фонтанки и ждал жену,

и подошла жена. Я заломил покрасивее шляпу, тогда еще носили шляпы, и было это там, где Чернышев сковал цепями башни над водою. А жизнь катилась по своим ухабам, не шатко и не валко...

Я зарабатывал чуток на "научпопе", в журналах детских... Радио, бывало, передавало очерк иль куплет, что добавляло роскоши и неги: поездка на такси, похож на "крышу" ресторана "Европейский" и туфли для жены из венской кожи, и этого вполне, вполне хватало.

А рядом были добрые друзья — художники, геологи, поэты, и у иных достаток был скромнее — все это мало волновало нас.

Мы собирались в кинотеатр "Аврора", и до начала было семь минут.

— Пора, пошли, не то сеанс пропустим.

— Постой минутку, дай я покурю, — жена сказала. Сумочку открыла, размяла сигарету и затем австрийскую достала зажигалку, такой изящный черный пистолетик, игрушку, привозную ерунду.

И я увидел вдруг, как зажигалка потяжелела, вытянулся ствол, покрылась рукоять рубчатой коркой, зрачок мне подмигнул необъяснимо...

Я не услышал выстрела, я был убит на месте, стукнулся башкою о полустертый парапет моста, а шляпа полетела вниз в мазутные потоки и поплыла куда-то в Амстердам.

Очнулся я в Москве спустя три года и долго ничего не понимал...

Потом сообразил — *мальтийский сокол* — вот где разгадка, все его проделки...

.
Бульвар московский забирался в гору
и выводил к заброшенному скверу,
затиснотому в тесноту Таганки,
затем спускался круто вниз к реке.

— Присядем здесь, немного я устала.

— Ты знаешь, если забрести в тот угол,
то там стоит какой-то старый чертик,
какой-то мрамор, может быть, остаток
усадыбы старой. Я всегда хотел
поразузнать о нем, но всё заботы,
все недосут, а прочем, как у всех;
а я его давным-давно приметил.

Но час настал — пойдем и разберемся.

— Пойдем и разберемся — час настал!

— Вообще я помню что-то в этом роде
у нас в дворцовых парках Петербурга,
но как-то поантичнее, получше.

А здесь-то, видимо, была усадьба
московского дворянчика, купчишки,
и он купил дешевую подделку
в каком-нибудь Неаполе лет сто тому назад.

— Да, вот она. А что все это значит?

— Вот видишь, дама, бывшая красотка,
не первой свежести, но все же хороша.

Приятная фигурка, ножки, грудки —
все так уютно, как у Ингрид Бергман.

Она глядит таким туманным взором,
доверчивым, открытым, дружелюбным
и обещающим полулюбовь и полу...

А рядом — это символы ее.

Здесь на плече была, пожалуй, птица,
но только голову ее отколотили,
а под рукой у дамы некий ящик,
и что-то в нем нащупала она.

(Ты помнишь, ящик был и у Пандоры.)

И надпись есть на цоколе замшелом,
ведь это аллегория, должно быть... —
Внезапно спутница моя сказала,

не вглядываясь даже в эти буквы:

— Я, пожалуй, знаю. На нем написано
 "Ля традиненто", по-итальянски —
 черная измена, обдуманное тайное коварство...

— Ну и ну!.. Откуда же тебе известно это?

Ты здесь бывала? — Что ты, никогда.

Но нам известно. Это "коза ностра"⁶. —

Туман, туман над всем московским небом,
 в тумане вязнет куртка меховая
 и челочка разбухшая твоя.

Туман бледнит парижскую помаду,
 развеивает запахи "Мицуки"
 и чем-то ленинградским отдает,
 тем самым стародавним, позабытым...

— Ну что, пора? — спросил я.

— Да, пожалуй, сегодня было очень хорошо. —

Через туман глядел я ей вослед,
 расчетливо раскачивая бедра,
 в распахнутой пушистой лисьей куртке,
 и лайковая сумка на ремне.

И вот перед последним поворотом
 она через туман кивнула мне,
 как заговорщица — почти неразличимое лицо, —
 овальный циферблат моей надежды показывал
 ноль-ноль часов одну минуту...

Невежда, полузнайка, знаю я:
 пифагорейцы точно рассудили,
 что вечен круг преображенья жизни.

Но в человеческой судьбе загадка есть,
 какой-то повторяющийся образ —
 попробуй-ка его уразумей.

И то, что нам показывал Викентий
 на рваной простыне, когда она
 от выстрела в затылок прогорела, —
 всего лишь детективный эпизод
 чужого фильма... Или нет, не только.

А впрочем, пифагорейская все это чепуха...

Поскольку ход судьбы непредсказуем,
 то произвол творит мальтийский сокол,

бессмысленно петляет он, и все же
всегда свое гнездо находит он⁷.

Да, Аристотель прав, сей сокол божество:
ему готовится повсюду торжество.

1986

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Б о г а р т Х а м ф р и (1899 – 1957) – знаменитый американский киноактер, в основном создававший образы героико-романтического характера, много снимался в гангстерских и детективных фильмах.

² Б е р г м а н И н г р и д (1926 – 1962) – знаменитая киноактриса, шведка по национальности, играла многоплановые, психологически загадочные роли.

³ М о н р о М е р и л и н (1926 – 1962) – выдающаяся киноактриса и ”секс”-звезда. В 50-е годы стала одним из национальных символов США. В фильме ”Мальтийский сокол” не участвует.

⁴ ”М а л ь т и й с к и й с о к о л” – фильм режиссера Джона Хьюстона. Вышел на экраны в 1941 г. В основу фильма положен детективный роман американского писателя Дашиела Хеметта.

⁵ Ч е р н ы ш е в м о с т в Л е н и н г р а д е – башенный мост с декоративными цепями.

⁶ ”К о з а Н о с т р а” – ”Наше дело” (*итал.*) – название одной из крупнейших американских мафий. Здесь употреблено в шуточном смысле.

⁷ Автору прекрасно известно, что главную роль в реальном фильме играет не И. Бергман, а М. Астор. Однако поэтическая специфика заставила автора в поэме подменить одну актрису другой.

СОРОК ЧЕТЫРЕ

Бывало, приедешь рано, пока еще спит столица бывшая,
и с вокзала зачем-то мимо пройдешь,
присядешь в квадратном скверике,
где Пушкин стоит лилипутом,
где можно сказать лилипушкин (а впрочем сие не про нас).
Покуришь, подхватишь баульчик и тронешься в путь-дорогу,
оглядываясь почему-то на восьмиэтажный дом.
А там и была квартира, квартира 44,
в которой когда-то водились ученые чижи.
Они собирались густо по праздникам и по будням,
они заводили хором насмешливую дребедень.
Их угощали чаем, они угощались пивом,
и все, что здесь было — было... было раз навсегда.
Какая большая гостиная, она же большая столовая,
она же приемная зала для сорока четырех.
Кто был там — не перечислить, не стоит, там все бывали,
но стали меня тревожить те, что бледней других.
Вот эти четверо кряду, они и уселись рядом,
и что-то им вроде зябко и чай в их чашках простыл.
Чего они смотрят в окна на крыши Санкт-Петербурга,
откуда ползет новогоднее солнце как мандарин.
Хотите горячего чаю? Хотите горячего пунша?
Хотите горячего солнца первого января?
Зачем вам так зябко, ребята,
зачем вы уселись под елкой,
зачем еловые лапы обмотаны мишурой?
Вот "Брызги шампанского" танго — танцуйте,
вас приглашают.

Что же это такое?

Нет, они не хотят.

Когда я говорю: Сорок четыре —
я вспоминаю в Питере квартиру.

Я помню не застолья, не загулы,
а только нас, нас всех до одного.

Куда мы делись, как переменились,
не только та четверка, все, все, все.

Вы умерли — а мы не умирали?

Не умирали разве мы с тобою,
и даже докричатся не могли,
такая глухота, такие дали.

Поскольку смерть есть всякая обида
и неудача, самоистязанье,

но жизнь есть тоже всякая обида...

Нам некуда, пожалуй, возвратиться.

Давным-давно разорена квартира
и может только Пушкин нас узнать.

Совсем недавно шел я от вокзала
и засиделся в скверике квадратном,
рассвет расправил серенькие шторы

и показалось мне, что это вы
выходите из низкой подворотни

в своих болгарских и китайских платьях
со школьными тетрадами в руках.

Куда вы шли? К Таврической на башню,
где некогда ужились вы, учитель,

с чудовищем — оно лазурным мозгом
когда-нибудь нас снова ослепит.

Но вы еще об этом не слыхали,
а просто шли под утренним дымком.

Я и себя увидел и... очнулся.

Когда я говорю: Сорок четыре,

я вспоминаю полосатые обои,

я вспоминаю старую посуду,

я вспоминаю добрую хозяйку,

я вспоминаю все.

Что думаете Вы о нас, учитель?

Навстречу Вы приветливо кивали

и пролеткультовцу и футуристу,
а знали толк вы всех на свете лучше.
Благожелательство не благодущье,
ваш тайный яд никто не мог забыть.

* * *

В тот раз к приятелю я прибыл на побывку
на речку Мойку к самому истоку,
где Новая Голландия стоит.
Прошел я мимо арки Деламота
и вдруг на ум пришло такое мне:
я никогда не проплывал под нею.
А там краснели круглые строенья
и круговой их отражал канал.
И показалось мне, что здесь граница,
которую пройти не так-то просто.
Вот здесь мы соберемся после жизни,
а может проживем и после смерти,
когда бы только лодку отыскать для переправы.
Вы там уже, вы четверо в квартире сорок четыре?
Ответьте!.. Не такие дураки.
Но вести будут чаще, чаще, чаще...
И все-таки я не о том совсем.
Когда я говорю: Сорок четыре,
то сводится все к непонятной фразе,
которая давненько в ум запала —
подслушал ли, придумал ли, запомнил — не знаю,
но не дает она покоя мне.
И потому твержу, твержу, твержу:
"Вы умерли, а мы не умирали
разве?"

1993

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие — 5

”ИМЕНА МОСТОВ”

- ”Окно на первом этаже над Невкой...” — 17
Мост лейтенанта Шмидта — 18
Фонтанка — 19
Сорок пятый — 20
Через пятнадцать лет — 21
Подпись к разорванному портрету — 22
Сосед Котов — 24
О сопроамате — 25
Крестовский — 26
Памяти Витебского канала в Ленинграде — 27
Тбилиси в январе — 29
Утренний кофе на Батумском морском вокзале — 31
Баллада ночного звонка — 32
Фонтан — 34
У Лукоморья — 36
”Нет вылета. Зима. Забит аэродром...” — 38
Алма-Ата — 39
Перед солнцеворотом — 41
”Холодный песок прибалтийский” — 42
”Тревожная осень, над городом свист...” — 43
”Под северным небом яснее всего...” — 44
Взгляд с крыльца дома поэта — 45
Таруса — 46
Братьям Чиладзе — 47
Воздушный календарь — 49
Когда-то в Таллинне — 51
Черная музыка — 53
Перед прозой — 55
В Новую Англию — 57
На мотив Полонского — 59
”Мокрой зимы всепогодные сводки...” — 60
Стихи о Фортуне — 61
Первое июня — 62
Узел — 63
В парке — 67
”Все незнакомо в этом доме...” — 68
Озеро Пюхаярв — 69

- "MELENCOLIA", гравюра Альбрехта Дюрера — 70
За Смоленской церковью — 72
Тридцатое декабря — 74
Забывтый фильм — 75
"Воронцовский дворец все на том же месте..." — 76
"О, мой демон с лазоревым бантом..." — 77
"Рынок Андреевский, сквер и собор..." — 79
Из старого сонника — 80
"Второпях, второпях..." — 81
Перед отплытием — 82
"Мутно марево, дали нечетки..." — 83
"Младенчество. Адмиралтейство..." — 84

"БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА"

- Каток "Спартак" — 89
На старых улицах — 90
Балкон — 91
"Заснеженный Крылов насупился над басней..." — 93
Речной вокзал — 94
"Легкий снежок прогулки..." — 96
Стихи о русской литературе — 97
"Ты читаешь вполголоса..." — 99
Борис и Леонид — 100
Центр защиты — 101
Памяти Аркадия Штейнберга — 103
Предпоследнее свидание — 104
Норд-вест — 105
На Ордынке — 107
Монастырь — 109
У Новодевичьего — 111
Над Тавридой — 112
Петроградская сторона — 113
Эпитафия — 114
Новогодье — 115
За Псковом — 117
Ленинградским друзьям — 118
Про ворона — 120
Авангард — 121
Открытка — 123
Карантин — 125
В диких лесах Пицунды — 127
"В провинциальном городе чужом..." — 129
"Посреди медуницы и мака..." — 130
"У зимней тьмы печали полон рот..." — 132
В Павловском парке — 138

”ТЕМНОТА ЗЕРКАЛ”

- ”Ночной истребитель во мраке...” – 137
”Темный дождик в переулке...” – 138
Сосед Григорьев – 139
Последний день осени – 141
599/600 – 143
Музыка жизни – 144
Новогодняя оттепель в городе Зеленогорске – 146
Нежносмо – 148
Возвращение – 150
Преображенское кладбище в Ленинграде – 151
Художник и модель – 153
”Деревянный дом у вокзала...” – 155
У заставы – 157
”Грай вороний над бульваром – 158
Тайный агент – 160
Джим – 162
”Самой природы вечный меньшевик...” – 164
Международный вагон – 165
В дорогу – 166
Хинкальная ”Инкит” – 167
Утренняя речь по дороге в Дигоми – 169
Московский вокзал – 172
”Холодным летним днем...” – 173
Электричка О-40 – 174
Из Лермонтова – 175
Над Фонтанкой – 178
За Крузенштерном – 180
Завтрак на балконе – 182
В темном блеске – 183
В последний раз – 184
”Вдруг над Черноморьем гулкие раскаты, хлябь гром...” – 186
”Братья, пустите домой...” – 188
”Все те же ионические поленницы в старом окне...” – 189
Елисеевский – 190
Кольцо ”Б” – 193
Тарас Бульба – 195
”Жизнь прошла, и я тебя увидел...” – 1196
Я забыл сказать тебе – 197
”На Каменноостровском среди модерна Шехтеля...” – 198
Любовь к лиловому – 199
”На старой-старой хроникальной ленте...” – 201
Ночь в Комарово – 202
Альбом Модильяни – 203
Комета – 204

- Щелкунчик – 205
Дом Мурузи – 207
Австро-Венгрия – 208
Дом поэта – 210
"Где следопыт в шинели каменной..." – 212
Брестский мир – 214
Фонтанчик – 216
"...И в дальний путь на долгие года..." – 217
В старом зале – 219
Мастерская – 221
Шестое мая – 225
Ангел-истребитель – 227
Ухмылка Леонардо – 229
Сириус над Маасом – 231
Ночной дозор – 232
"Саксофонист-японец, типичный самурай..." – 233
Под гербами – 234
За каналом – 235
Нинель – 237
Майя – 240
Древесная лягушка – 242
Зоомагазин – 243
По шпалам – 244
Второе октября – 246
Весь день дождь – 247
"Пополам раздвигая легкотяжелую штору..." – 248
Пятидесятый – 249
"В городе Кембридже под Рождество..." – 250
Свет с Востока – 251
Новый символизм – 252
Воспоминания в Преображенском селе – 254

"ПРЕДСКАЗАНИЕ"

- Дельта – 259
Алмазы навсегда – 264
Второе мая – 274
Няня Таня – 278
Мальтийский сокол – 282
Сорок четыре – 297

Александр Глезер, главный редактор
"Библиотеки новой русской поэзии"

Иосиф Бродский, вступительная статья

Юрий Архангельский, художник

Светлана Басипова, технический редактор

©Издательство "Третья волна", 1992
109003, Москва, Каретный ряд, 3.

Подписано в печать 5.10.93 г. Формат 60x90 1/16
Отпечатано с готовых диапозитивов. Тираж 10000 экз.
ДПК. г. Домодедово ул. Пионерская, 18. Зак. 3248

